



## 1. Легче вообразить конец света, чем конец капитализма

В одной из ключевых сцен вышедшего в 2006 году фильма Альфонсо Куарона «Дитя человеческое» герой Клайва Оуэна, Тео, навещает своего друга на электростанции Баттерси, которая превращена в нечто среднее между государственным зданием и частной коллекцией. Сокровища культуры: «Давид» Микеланджело, «Герника» Пикассо, надувная свинья «Пинк Флойд» — хранятся в здании, которое само оказалось подновленным артефактом нашего наследия. Нам предлагают заглянуть в жизнь элиты, спасающейся от последствий катастрофы, вызвавшей массовое бесплодие: на протяжении жизни целого поколения не рождалось ни одного ребенка. Тео задает вопрос: «Какое всё это может иметь значение, если не будет никого, кто это увидит?» Будущие поколения уже не дают алиби, поскольку их не будет. Ответом оказывается нигилистический гедонизм: «Я стараюсь не думать об этом».

Уникальным в дистопии, изображенной в «Дите человеческом», является то, что она специфична для позднего капитализма. Это не обычный тоталитарный сценарий, который практически всегда отрабатывается в кинематографических дистопиях (таких, например, как вышедший в 2005 году фильм Джеймса Мактига «"V" значит вендетта»). В романе Филлис Дороти Джеймс, по которому сделана экранизация, демократия приостановлена, а страна управляется назначившими себя Стражами, однако фильм весьма предусмотрительно сглаживает эти подробности. Насколько мы можем судить, авторитарные меры, применяемые повсеместно, были, вероятно, введены изнутри политической структуры, которая остается, по крайней мере номинально, демократической. Война с террором уже подготовила нас к подобному развитию событий: нормализация кризиса создает ситуацию, в которой отзыв мер, введенных в условиях чрезвычайного состояния, становится невообразимым (когда закончится война?).

Когда мы смотрим «Дитя человеческое», вспоминается фраза, приписываемая Фредрику Джеймисону и Славою Жижекю: «Легче вообразить конец света, чем конец капитализма». Этот лозунг схватывает именно то, что я имею в виду под выражением «капиталистический реализм», а именно: широко распространенное ощущение не только того, что капитализм является единственной жизнеспособной политической и экономической системой, но и того, что теперь невозможно даже вообразить непротиворечивую альтернативу ему. Некогда дистопические фильмы и романы были упражнениями в подобных актах воображения: описываемые в них катастрофы служили в повествовании предлогом для продуцирования иных способов жизни. Но не в «Дите человеческом». Создаваемый этим фильмом мир кажется, скорее, экстраполяцией или обострением нашего собственного мира, а не его альтернативой. В этом мире, как и в нашем, ультраавторитаризм и капитал вполне совместимы друг с другом: лагеря и сетевые кофейни прекрасно уживаются вместе. В «Дите человеческом» публичные места пришли в запустение, их заполняет ни кем не убираемый мусор и бродячие животные (особенно впечатляющая сцена разворачивается в заброшенной школе, через которую пробегает олень). Неолибералы, главные капиталистические реалисты, освятили разрушение публичного пространства, однако, вопреки официальным надеждам, в «Дите человеческом» мы не видим устранения государства — оно лишь оголяется до своего ядра, состоящего из военных и полицейских функций. (Я говорю об «официальных» надеждах, поскольку неолиберализм тайком опирался на государство даже тогда, когда на уровне идеологии обрушивал на него всю свою критику. Это стало абсолютно очевидным во время банковского кризиса 2008 года, когда по наводке неолиберальных идеологов государство бросилось помогать банковской системе.)

Катастрофа в «Дите человеческом» — это не то, что ожидает нас за поворотом, и не то, что уже случилось. Скорее, в ней-то мы и живем. Нет какого-то определенного момента крушения. Мир не заканчивается взрывом, он затухает, оголяется, постепенно распадается. Какая разница, что именно вызвало катастрофу. Ее причины так далеко в прошлом, они настолько отделены от настоящего, что кажутся каким-то капризом зловредного существа — негативным

чудом, проклятием, которое не снимешь никаким покаянием. Подобную напасть можно облегчить лишь актом, предвосхитить который столь же сложно, как сложно было ожидать проклятия, с которого все началось. Действие бессмысленно — только бессмысленные надежды имеют смысл. Распространяются суеверия и религия — первое, к чему обращаются отчаявшиеся.

Но как обстоит дело с самой катастрофой? Очевидно, что тему бесплодия можно прочесть метафорически — как смещение тревоги иного толка. Я хотел бы показать, что эта тревога просто просится, чтобы ее прочли в культурных терминах, и тогда вопрос фильма будет выглядеть так: как долго может существовать культура, если нет ничего нового? Что случится, если молодежь уже не способна преподносить сюрпризы?

С подозрением, что конец уже пришел, «Дитя человеческое» соединяет мысль о том, что, вполне вероятно, будущее готовит нам лишь повторение и повторные искажения одного и того же. Может ли быть так, что не будет никаких разрывов, никаких «шоков от нового»? Подобные тревоги порождают маниакально-депрессивное колебание: «слабая мессианская» надежда на то, что нечто новое должно произойти, переходит в мрачную убежденность в том, что новому не бывать. Фокус смещается от Следующей Великой Вещи к последней великой вещи — как давно было что-то великое и насколько велико оно было?

На фоне «Дитя человеческого» заметна фигура Т. С. Элиота, ведь фильм, в конечном счете, продолжает тему бесплодия из «Бесплодной земли». Эпиграф, завершающий фильм, — «шанти, шанти, шанти» — имеет отношение скорее к фрагментарной поэзии Элиота, чем к умиротворенности Упанишад. В «Дите человеческом» зашифрованы проблемы и другого Элиота — Элиота «Традиции и индивидуального таланта». Именно в этом эссе Элиот, предвосхищая Гарольда Блума, описал взаимоотношение между каноническим и новым. Новое определяет само себя в ответ на то, что уже установлено; в то же время установленное должно перестраивать себя в ответ на новое. Тезис Элиота заключался в том, что истощение будущего не оставит нам даже прошлого. Традиция ничего не значит, когда она больше не оспаривается и не преобразуется. Культура, которая просто сохраняется, не является культурой вовсе. Примером служит изображенная в фильме судьба «Герники» Пикассо, картины, некогда бывшей воплем боли и возмущения перед лицом фашистской жестокости. Как и безразмерная электростанция Баттерси, картина наделяется «иконическим» статусом только тогда, когда она лишается какой бы то ни было функции и контекста. Ни один культурный объект не может сохранить свою силу, когда больше нет новых глаз, способных его увидеть.

Нам необязательно ждать ближайшего будущего, показанного в «Дите человеческом», чтобы увидеть это превращение культуры в музейный экспонат. В какой-то мере сила капиталистического реализма определена тем, как капитализм присваивает и потребляет всю предшествующую историю — таков результат его «системы эквивалентности», которая способна любым культурным объектам, будь они религиозными иконами, порнографией или «Капиталом», приписать определенную финансовую ценность. Пройдитесь по Британскому музею, и вы увидите, что объекты оторваны от своих жизненных миров и собраны словно бы на столе космического корабля Хищника, и тогда вы сможете составить полное представление об уже разворачивающемся процессе. Верования былых культур — при превращении практик и ритуалов в эстетические объекты — подвергаются объективирующей иронии, преобразуются в артефакты. Поэтому капиталистический реализм не просто особый тип реализма. Скорее это реализм как таковой. Это заметили Маркс и Энгельс в своем «Манифесте Коммунистической партии»:

В ледяной воде эгоистического расчета потопила она [буржуазия] священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу — свободу торговли.

Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

Капитализм — то, что осталось, когда верования свелись к ритуалу или символической проработке, остался только зритель-потребитель, пробирающийся через руины и останки.

Однако этот поворот от веры к эстетике, от ангажированности к позиции зрителя считается одним из достоинств капиталистического реализма. По словам Бадью, когда капиталистический реализм заявляет, что он «освободил нас от "вредоносных абстракций", заданных "идеологиями прошлого"», он выдает себя за щит, спасающий нас от опасностей, порождаемых верой как таковой. Предполагается, что позиция иронической дистанции, свойственная постмодернистскому капитализму, должна наделить нас иммунитетом против соблазнов фанатизма. Нам говорят, что занижение наших ожиданий — это та небольшая цена, которую надо заплатить за защиту от террора и тоталитаризма. «Мы живем в противоречии», как заметил Бадью:

<...> отвратительное положение дел, в основе своей поддерживающее неравенство, когда любое существование оценивается в терминах одних лишь денег, предлагается нам в качестве идеала. Сторонники установленного порядка, оправдывая свой консерватизм, не могут назвать его и в самом деле идеальным или чудесным. Вместо этого они решили говорить, что все остальное ужасно. Конечно, говорят они, наверное, мы не живем в условиях совершенного Блага. Однако хорошо уже, что мы не живем в условиях Зла. Наша демократия несовершенна. Но она лучше, чем кровавая диктатура. Капитализм несправедлив. Но он не преступен, в отличие от сталинизма. Мы даем миллионам африканцев умирать от СПИДа, однако мы не делаем расистских и националистических заявлений, как Милошевич. Мы убиваем с наших самолетов иракцев, однако не перерезаем им горло мачете, как в Руанде, и т. д.

Такой «реализм» аналогичен дефляционной позиции депрессивного больного, который считает, что любое позитивное состояние, любая надежда — это опасная иллюзия.

В своей теории капитализма, со времен Маркса определенно самой впечатляющей, Делёз и Гваттари описывают его как некую темную потенциальность, которая преследует все прошлые социальные системы. Капитал, утверждают они, это «неименуемая Вещь», та мерзость, которую первобытные и феодальные общества стремились заблаговременно «отпугнуть». Когда капитализм на самом деле наступает, он приносит с собой массивную десакрализацию культуры. Это система, которая более не управляется никаким трансцендентным законом. Напротив, она разрушает все подобные коды, дабы перестроить и заново установить их в режиме *ad hoc*. Пределы капитализма не заданы указом, они определяются (и переопределяются) прагматически, в импровизации. В результате капитализм оказывается чем-то весьма похожим на «Нечто» Джона Карпентера, на монструозное, чрезвычайное пластичное существо, способное поддерживать свой метаболизм в чем угодно и поглощать все, с чем оно соприкасается. Как говорят Делёз и Гваттари, капитал — это «пестрая картина, изображающая все, что когда-либо существовало», странный гибрид ультрамодерна и архаики. В период после написания Делёзом и Гваттари двух томов «Капитализма и шизофрении» казалось, что детерриториализирующие импульсы капитализма были ограничены финансами, что сохраняло культуру под властью сил ретерриториализации.

Это болезненное ощущение того, что нет ничего нового, само по себе, разумеется, не ново. В нем мы имеем дело со знаменитым «концом истории», прославленным Фрэнсисом Фукуямой после падения Берлинской стены. Тезис Фукуямы о том, что история достигла своего апогея в либеральном капитализме, часто высмеивали, однако он допускается и даже принимается на уровне культурного бессознательного. Следует, однако, вспомнить, что, даже когда Фукуяма выдвинул этот тезис, мысль о том, что история наконец достигла «последнего рубежа», не была всего лишь проявлением триумфа. Фукуяма предупредил о том, что в его

блистающем городе появятся привидения, однако он думал, что эти призраки будут скорее нищенскими, а не марксистскими. В некоторых из наиболее пронизательных текстах Ницше можно найти описания «перенасыщенности эпохи историей». В «Несвоевременных размышлениях» он писал, что «это придает эпохе опасное настроение иронии по отношению к самой себе, а затем еще более опасное циничское настроение», в результате которого «космополитическая поверхностность», отвлеченное созерцательство замещают решимость и участие. Таково положение описанного Ницше «последнего человека», который все видел, но по-декадентски ослаблен именно этим избытком (само) сознания.

Позиция Фукуямы в некотором отношении является зеркальным отражением позиции Фредрика Джеймисона. Как известно, Джеймисон утверждал, что постмодернизм является «культурной логикой позднего капитализма». Он показал, что крах будущего является конститутивным для постмодернистской культурной сцены, на которой будут господствовать коллаж и стилизации. Поскольку Джеймисон убедительно продемонстрировал связь между постмодернистской культурой и некоторыми тенденциями потребительского (или постфордистского) капитализма, может показаться, что вообще нет никакой нужды в понятии капиталистического реализма. В определенном смысле это так. То, что я называю капиталистическим реализмом, можно подвести под категорию постмодернизма в той теоретической версии, которая была предложена Джеймисоном. И все же, несмотря на героические усилия Джеймисона по прояснению этого понятия, постмодернизм остается крайне спорным термином, а его значение — бесповоротно и вполне закономерно запутанным и неопределенным. Что более важно, я хотел бы доказать, что некоторые из процессов, описанных и проанализированных Джеймисоном, приобрели настолько тяжелый и хронический характер, что произошло изменение самого их качества.

В конечном счете есть три причины, по которым «постмодернизму» я предпочитаю термин «капиталистический реализм». В 1980-х, когда Джеймисон впервые выдвинул свой тезис о постмодернизме, существовали, по крайней мере номинально, некоторые альтернативы капитализму. Теперь же мы имеем дело с более сильным и гораздо более устойчивым чувством исчерпания, культурного и политического бесплодия. В 1980-е все еще был «реально существующий социализм», хотя он уже и приближался к стадии своего окончательного распада. В Британии водораздел классового антагонизма был со всей очевидностью продемонстрирован такими событиями, как забастовка шахтеров в 1984–1985 годах, тогда как их поражение было важным моментом в развитии капиталистического реализма, по крайней мере не менее значимым в своем символическом измерении, чем в практических последствиях. Закрытия шахт требовали именно на том основании, что их сохранение не было «экономически реалистичным» вариантом. Поэтому шахтерам была навязана роль последних героев обреченного пролетарского романа. Восьмидесятые стали периодом, когда шла борьба за капиталистический реализм, когда он затем устоялся и когда учение Маргарет Тэтчер о том, что «альтернативы нет» (нельзя и придумать более успешного лозунга для капиталистического реализма), стало пророчеством, самоисполняющимся с беспримерной жестокостью.

Во-вторых, постмодернизм предполагал некоторое отношение к модернизму. Работа Джеймисона о постмодернизме начиналась с оценки той столь любимой Адорно и другими идеи, что модернизм обладает революционным потенциалом в силу одних лишь своих формальных инноваций. Джеймисон же заметил, что происходит встраивание модернистских мотивов в поп-культуру (например, сюрреалистические техники начали появляться в рекламе). В то самое время, когда некоторые модернистские формы были освоены и коммодифицированы, модернистское кредо — предполагающее веру в элитизм и монологическую, выстроенную сверху вниз модель культуры, — было поставлено под вопрос и отвергнуто во имя «различия», «разнообразия» и «множественности». Капиталистический реализм уже не требует подобного столкновения с модернизмом. Напротив, он принимает преодоление модернизма за нечто самой собой разумеющееся: теперь модернизм является тем, что может периодически

возвращаться, но только в качестве замороженного эстетического стиля и никогда — как жизненный идеал.

В-третьих, после падения Берлинской стены выросло новое поколение. В 1960-х и 1970-х капитализм был вынужден решать проблему сдерживания и присвоения внешних энергий. Теперь же у него на самом деле прямо противоположная проблема: как после слишком успешного встраивания в себя всего, что ему противилось, он может функционировать без того внешнего, которое он мог бы колонизовать и эксплуатировать? В Европе и Северной Америке для большинства людей в возрасте до двадцати лет отсутствие альтернатив капитализму даже не является проблемой. Капитализм заполняет все горизонты мыслимого. Джеймисон обычно с ужасом рассказывает о том, как капитализм проникает даже в бессознательное. Теперь же тот факт, что капитализм колонизовал сновидения всего населения, настолько самоочевиден, что его не стоит даже специально обсуждать. Небезопасная ошибка могла бы скрываться в представлении, будто недавнее прошлое было неким безгрешным состоянием, полным политических потенциалов, ведь достаточно вспомнить о той роли, которую коммодификация играла в культуре на протяжении всего XX века. И все же старая борьба между *detournement* и встраиванием, между подрывом и поглощением, уже отыграна. Теперь мы имеем дело не с встраиванием в систему произведений, которые, как казалось ранее, обладают подрывным потенциалом, а, напротив, их префабрикацией — упреждающим форматированием и оформлением желаний, стремлений и надежд капиталистической культуры. Подтверждением этому может выступить, например, создание особых «альтернативных» или «независимых» культурных зон, где бесконечно, словно бы это было в первый раз, повторяются старые жесты бунта и протеста. «Альтернатива» и «независимость» не указывают ни на что за пределами мейнстримной культуры. Напротив, они являются стилями, то есть, в действительности, *единственными* господствующими стилями мейнстрима. Никто не олицетворял этот тупик (и не боролся с ним) в большей степени, чем Курт Кобейн и «Нирвана». Кобейн — со своей ужасающей апатией и беспричинным гневом, — казалось, дал свой опустошенный голос отчаянию всего поколения, которое пришло после истории, поколения, каждый шаг которого был заранее просчитан, отслежен, продан и куплен еще до того, как он реально состоялся. Кобейн понимал, что он был просто еще одним элементом спектакля; что ничто не идет на MTV лучше, чем протест против MTV; он знал, что каждый его шаг был заранее распланированным клише и что даже это его понимание само было клишированным. Тупик, парализовавший Кобейна, — именно таков, как его описал Джеймисон: как и вся постмодернистская культура, Кобейн обнаружил себя в «мире, в котором более невозможна стилистическая инновация, поэтому остается лишь подражать мертвым стилям, говорить через маску, используя голоса стилей в некоем воображаемом музее». Здесь даже успех означал провал, поскольку успех может значить лишь то, что вы стали новым куском мяса, которым кормится система. Но экзистенциальное напряжение «Нирваны» и Кобейна ушло в прошлое. За ним пришел пастиш-рок, который без всякого страха стал воспроизводить формы прошлого.

Смерть Кобейна закрепила поражение и встраивание в систему утопических, прометеевских амбиций рока. Когда он умер, на рок легла тень хип-хопа, предпосылкой общемирового успеха которого как раз и была та префабрикация капиталом, которую я упоминал выше. Для большей части хип-хопа любая «наивная» надежда на то, что молодежная культура может что-то изменить, была замещена трезвым принятием бескомпромиссной логики этой «реальности». В своем эссе 1996 года в журнале *The Wire* Саймон Рейнольдс отмечал:

В хип-хопе «реальное» обладает двумя значениями. Во-первых, это слово означает аутентичную, бескомпромиссную музыку, которая отказывается продаваться музыкальной индустрии и смягчать свой посыл ради раскрутки. Но также «реальное» означает, что музыка отражает «реальность», созданную экономической нестабильностью позднего капитализма, институционализированным расизмом, усилением надзора за молодежью и ее преследованием со стороны полиции. «Реальное» означает смерть социального, оно отсылает к корпорациям,

отвечающим на рост прибылей не увеличением оплаты или мерами, направленными на благосостояние сотрудников, а... сокращениями (отказом от постоянных рабочих, нужным, чтобы создать пул мобильной рабочей силы, состоящей из частично занятых работников и фрилансеров, которые не могут пользоваться какими-либо бонусами или гарантиями).

В конце баста именно отыгрывание в хип-хопе этой первой версии реального — как «бескомпромиссного» — позволило ему с легкостью встроиться во вторую версию, в реальность позднекапиталистической экономической нестабильности, где подобная аутентичность отлично продается. Гангста-рэп не просто отражает уже существующие социальные условия, как утверждали многие его защитники, но и не провоцирует подобные условия, как считали его критики, скорее та схема, в которой хип-хоп и поздний капитализм замкнуты друг на друга, — это одно из средств, благодаря которым капиталистический реализм превращает себя в некий антимифический миф. Между хип-хопом и гангстерскими фильмами, такими как «Лицо со шрамом», «Крестный отец», «Бешеные псы», «Славные парни» и «Криминальное чтиво», возникает близость, поскольку в них утверждается, будто мир лишен сентиментальных иллюзий, он такой, «какой он реально есть» — то есть в форме гоббсианской войны всех против всех, системы вечной эксплуатации и всеобщей преступности. Как пишет Рейнольде, в хип-хопе «стать реальным» — значит иметь дело с естественным состоянием, в котором собаки едят собак и где ты либо победитель, либо проигравший, причем большинство будут проигравшими.

То же самое мировоззрение в стиле неонуара можно обнаружить в комиксах Фрэнка Миллера или Джеймса Эллроя. В работах Миллера и Эллроя есть некий манизм демифологизации. Эти авторы выступают в качестве бесстрастных наблюдателей, отказывающихся приукрашивать мир так, чтобы его можно было втиснуть в явно упрощенные этические оппозиции комиксов о супергероях и традиционного детективного романа. «Реализм» тут скорее заявлен, а не выпячивается, благодаря фиксации на угрюмой продажности всего и вся, хотя гиперболизация жестокости, предательства и дикости у обоих авторов быстро становится пантомимой. Майк Дэвис писал об Эллрое в 1992 году:

...В его смоляной черноте не осталось никакого света, который мог бы отбросить тень, так что зло становится простой криминологической тривиальностью. Результат начинает сильно напоминать моральную текстуру эпохи Рейгана — Буша: перенасыщенность коррупцией, которая уже не может оскорбить или даже просто заинтересовать.

Но именно такое падение чувствительности выполняет определенную работу для капиталистического реализма: Дэвис предположил, что «ролью лос-анджелесского нуара» могло быть «усиление позиции недавно родившегося *homo reaganus*».

## 2. Что, если бы вы устроили митинг, на который все пришли?

В случае гангста-рэпа и Элдроя капиталистический реализм приобретает форму некоего чрезмерного отождествления с капиталом как самым безжалостным хищником, однако это совсем не обязательно. На самом деле капиталистический реализм вовсе не исключает некоего антикапитализма. В конце концов, как однажды отметил — не без вызова — Жижек, антикапитализм при капитализме очень широко распространен. Время от времени главным негодяем в голливудских фильмах оказывается «нехорошая корпорация». Ни в коей мере не подрывая капиталистический реализм, такой показной антикапитализм на самом деле его укрепляет. Возьмем для примера фильм «Валли» (2008, Disney/Pixar). В нем изображается Земля, разграбленная и расхищенная настолько, что люди просто не могут продолжать на ней жить. Нет никакого сомнения в том, что за это опустошение несут ответственность потребительский капитализм и корпорации, или, скорее, одна мегакорпорация, *Big n Large*. Инфантильные и разжиревшие люди, которых мы наблюдаем в космическом изгнании, общаются друг с другом через экранные интерфейсы, перемещаются на моторизированных креслах и постоянно потягивают какое-то пойло из стаканов. Эта картина контроля и коммуникации сильно напоминает теории Жана Бодрийера, в которых порабощение уже не имеет формы подчинения внешнему спектаклю, а скорее приглашает нас взаимодействовать и участвовать. Кажется, что киноаудитория сама является объектом этой сатиры — и этот момент заставил некоторых обозревателей правого толка отпрянуть в негодовании от экрана и обвинить студию Disney/Pixar в том, что она третировает собственных зрителей. Однако подобная ирония скорее подпитывает капиталистический реализм, а не ставит его под вопрос. Такие фильмы, как «Валли», — пример того, что Роберт Пфаллер назвал «интерпассивностью»: фильм выполняет за нас наш антикапитализм, позволяя нам бесстыдно потреблять. Роль капиталистической идеологии — не выступать в защиту чего бы то ни было, как делает пропаганда, а скрывать тот факт, что действия капитала не зависят от субъективно принятых мнений. Невозможно представить фашизм или сталинизм без пропаганды, однако капитализм отлично без нее обходится, в некотором смысле ему даже лучше, когда его никто не отстаивает и не защищает. Выводы Жижека в этом отношении остаются весьма полезными. Он замечает:

Если понятие идеологии является классическим, то есть предполагающим, что иллюзия локализована в знании, тогда сегодняшнее общество может показаться постидеологическим: превалирует идеология цинизма, люди больше не верят в идеологическую истину, они не принимают идеологические высказывания всерьез. Однако фундаментальным уровнем идеологии является не иллюзия, скрывающая реальное положение дел, а уровень (бессознательной) фантазии, структурирующей саму нашу социальную реальность. На этом уровне мы, разумеется, как никогда далеки от постидеологического общества. Циническая дистанция является всего лишь способом... закрыть глаза на структурную власть идеологической фантазии: даже если мы не принимаем вещи всерьез, даже если мы сохраняем ироническую дистанцию, *мы все равно продолжаем делать их*.

По мнению Жижека, капиталистическая идеология заключается именно в превознесении веры как внутренней субъективной позиции над теми убеждениями, которые мы демонстрируем и проявляем в нашем поведении. Пока мы верим (в наших сердцах), что капитализм плох, мы вольны продолжать участвовать в капиталистическом обмене. Согласно Жижеку, капитализм в целом опирается на эту структуру отречения. Мы считаем, что деньги — это просто бессмысленный знак, не имеющий внутренней ценности, однако мы *действуем* так, словно бы он был священен. Более того, такое поведение зависит именно от предшествующего отречения: мы можем фетишизировать деньги в наших действиях только потому, что сознательно мы уже заняли ироническую позицию по отношению к ним.

Корпоративный антикапитализм не имел бы значения, если бы его можно было отличить от подлинного антикапиталистического движения. Однако так называемое антикапиталистическое движение, еще до того, как его напору был

поставлен заслон террористическими атаками на Всемирный торговый центр 11 сентября, похоже, также слишком много уступило капиталистическому реализму. Поскольку оно оказалось не способно предложить непротиворечивую политэкономическую модель, альтернативную капитализму, появилось подозрение, что действительной его целью была не смена капитализма, а лишь смягчение его наиболее крайних проявлений. А поскольку его деятельность все больше приобретала форму инсценированных протестов, не предполагавших никакой политической организации, возникло ощущение, что антикапиталистическое движение сводится к выдвиганию серии истерических требований, выполнения которых никто не ждал. Протесты сформировали некий фоновый карнавал гул капиталистического реализма, так что антикапиталистические протесты, скорее, имеют слишком много общего с такими гиперкорпоративными мероприятиями, как Live 8, где в адрес политиков было выдвинуто поразительное требование отменить бедность в законодательном порядке.

Live 8 — это весьма странная форма протеста, протест, с которым каждый мог согласиться, — ведь кто на самом деле хочет бедности? И дело не в том, что Live 8 — это «деградировавшая» форма протеста. Напротив, именно в Live 8 логика протеста была продемонстрирована в ее чистейшей форме. Протестный импульс 1960-х предполагал позицию злонамеренного Отца, предвестника принципа реальности, который (предположительно) жестоко и по собственному произволу отказывает в «праве» на всеобщее наслаждение. У этого Отца есть неограниченный доступ к ресурсам, однако он эгоистически и неразумно бережет их, никого к ним не подпуская. Но не капитализм, а сам протест зависит от подобного изображения Отца, поэтому одним из успехов теперешней глобальной элиты стало то, что она уклонилась от отождествления с этой фигурой скупого Отца, пусть даже «реальность», которую она навязывает молодежи, *существенно тяжелее*, чем те условия, против которых она протестовала в 1960-е. В самом деле, разумеется, сама глобальная элита — в лице таких шоуменов, как Ричард Кертис и Боно, — и выступила в качестве организатора Live 8.

Чтобы вернуть себе позицию реального политического субъекта, прежде всего требуется не отворачиваться от нашего включения *на уровне желания* в безжалостную мясорубку Капитала. При отторжении всего зла и невежества, которые приписываются фантазматическим Другим, мы отнекиваемся от нашего собственного соучастия в планетарной сети подавления. Помнить следует *и* о том, что капитализм является гиперабстрактной безличной структурой, *и* о том, что без нашей поддержки он — ничто. Описание капитала, выполненное в предельно готическом стиле, — самое точное. Капитал — это абстрактный паразит, ненасытный вампир и производитель зомби. Однако живая плоть, которую он преобразует в мертвый труд, — это наша плоть, а производимые им зомби — это мы сами. В определенном смысле можно утверждать, что политическая элита — это *наши слуги*, а презренная услуга, выполняемая ею для нас, состоит в отмывании наших либидо, в услужливом представлении нам же наших отвергнутых желаний, но в таком виде, словно бы они не имели к нам никакого отношения.

Идеологический шантаж, который начался с самых первых концертов Live Aid, заключался в тезисе, будто «забота об отдельных людях» может сама по себе прекратить голод, причем для этого не понадобится ни политическое решение, ни системная реорганизация. Нужно просто действовать — вот что говорят нам, а о политике следует забыть во имя неотложных этических задач. Принадлежащий Боно бренд «Product Red» был нацелен на то, чтобы обойтись даже без посредничества со стороны филантропии. «Филантропия — это что-то вроде музыки хиппи, когда сидят, сложив руки, — заявил Боно. — Red больше похож на панк-рок, хип-хоп, тут чувствуется жесткость торговли». Смысл был не в том, чтобы предложить альтернативу капитализму, напротив, приписанные Product Red качества «панк-рока» или «хип-хопа» заключались в «реалистическом» согласии с тем, что единственной допустимой игрой в наше время является капитализм. Нет, единственной целью было добиться того, чтобы часть выручки от определенных транзакций шла на добрые дела. Скрытая здесь фантазия состоит в том, что

западный консюмеризм, ни в коей мере не будучи на фундаментальном уровне встроенным в системное глобальное неравенство, сам может его исправить. Всё, что нам нужно, — это покупать правильные товары.

### 3. Капитализм и реальное

«Капиталистический реализм» — не мое изобретение. Это выражение использовалось уже в 1960-х одной немецкой поп-группой и Майклом Шадсоном в книге «Реклама: нелегкое искусство убеждения». В обоих случаях пародировался «социалистический реализм». В том, как я использую этот термин, новым является то расширительное — и даже чрезмерное — значение, которое я ему приписываю. Капиталистический реализм в моем понимании не может ограничиваться искусством или теми квазипропагандистскими вариантами, с которых связана реклама. Скорее, это нечто вроде повсюду проникающей *атмосферы*, обуславливающей не только культурное производство, но и регуляцию труда и образования, действующей в качестве некоей невидимой преграды, блокирующей мысль и действие.

Если капиталистический реализм настолько монолитен и если актуальные формы сопротивления настолько безнадежны и беспомощны, откуда может взяться действительный вызов? Моральная критика капитализма, упирающаяся на то, что он приводит к страданиям, лишь подкрепляет капиталистический реализм. Бедность, голод и война могут быть представлены в качестве неизбежных составляющих реальности, тогда как надежда на то, что эти формы страдания можно устранить, с легкостью изображается в качестве наивного утопизма. Угроза капиталистическому реализму может возникнуть только в том случае, если будет показано, что в каком-то отношении он является противоречивым или неустойчивым, то есть если показной «реализм» окажется чем-то совсем не реалистическим.

Само собой, то, что считается «реалистическим», что кажется возможным в той или иной точке социального поля, определяется цепочками политических определений. Идеологическая позиция никогда не может достичь настоящего успеха, если она не была натурализована, и она не может быть натурализована, если продолжает мыслиться как ценность, а не как факт. Соответственно, неолиберализм попытался исключить саму этическую категорию ценности. На протяжении последних тридцати лет капиталистический реализм сумел успешно сформулировать «бизнес-онтологию», в которой *просто очевидно* то, что все, включая здравоохранение и образование, должно управляться как обычный бизнес. Как заявляли многие радикальные теоретики, от Брехта до Фуко и Бадью, политика освобождения всегда должна разрушать видимость «естественного порядка», должна показывать, что представляемое в качестве необходимого и неизбежного является простой эмпирической случайностью. Такая политика должна сделать так, чтобы обреченное на невозможность предстало достижимым. Стоит напомнить о том, что некогда было невозможным то, что сегодня мы называем «реалистическим»: например, вал приватизации, который прошел с 1980-х годов, был немыслим еще десятилетием раньше. Да и весь нынешний политэкономический ландшафт (с зависшими профсоюзами, денационализированными заводами и железными дорогами) едва ли можно было представить себе в 1975 году. И наоборот, то, что некогда было более чем возможно, сегодня считается нереалистичным. Как с горечью замечает Бадью, «модернизация — это имя строгого и услужливого определения возможного. Все эти "реформы" неизменно преследуют цель сделать невозможным то, что ранее практиковалось (значительным числом людей), и сделать выгодным (для господствующей олигархии) то, что таковым не было».

Здесь, видимо, стоит ввести элементарное теоретическое различие из лакановского психоанализа, сегодняшнее использование которого многим обязано Жижеку: различие между Реальным и реальностью. Как поясняет Аленка Зупанчич, психоаналитическое задание *принципа* реальности требует от нас подозрительности по отношению к любой реальности, которая выдает себя за нечто натуральное. «Принцип реальности, — пишет Зупанчич, —

это не какой-то естественный порядок, связанный с тем, как существуют вещи... Принцип реальности сам идеологически опосредован. Можно даже утверждать,

что он составляет высшую форму идеологию, идеологии, которая представляет себя в качестве эмпирического (или биологического, экономического...) факта, фактической необходимости (которую мы обычно воспринимаем как нечто неидеологическое). Именно в этом пункте мы должны быть наиболее бдительны и внимательны к работе идеологии».

По Лакану, Реальное — это то, что должна вытеснять любая «реальность». В самом деле, реальность задает себя именно через подобное вытеснение. Реальное — это непредставимое X, травматическая пустота, на которую можно лишь украдкой бросить взгляд через разломы и рассогласования в поле видимой реальности. Поэтому стратегия, направленная против капиталистического реализма, могла бы обратиться к Реальному (или Реальным), находящимся под реальностью, предлагаемой нам капитализмом.

Экологическая катастрофа — вот пример такого Реального. Конечно, в определенном смысле можно решить, что вопросы экологии ни в коей мере нельзя считать «непредставимой пустотой» капиталистической культуры. Изменение климата и угроза исчерпания ресурсов не столько вытесняются, сколько встраиваются в рекламу и маркетинг. Такой подход к экологической катастрофе иллюстрирует именно структуру фантазии, от которой зависит капиталистический реализм, то есть предпосылку, гласящую, что ресурсы бесконечны, что сама Земля является пустой оболочкой, которую капитал в определенный момент может сбросить, как старую кожу, что любая проблема решается рынком (в конце концов в «Валли» излагается одна из версий этой фантазии — мысль о том, что бесконечная экспансия капитала вполне возможна, что капитал может умножаться и без труда, ведь на космическом корабле «Аксиома» весь труд выполняется роботами, что прожигание ресурсов Земли — лишь временный сбой, так что после некоторого восстановительного периода капитал сможет озеленить планету заново и опять колонизовать ее). Однако экологическая катастрофа фигурирует в культуре позднего капитализма только в виде некоего симулякра, поскольку ее реальные последствия для капитализма слишком травматичны, чтобы ее можно было встроить в систему. Значение экологической критики в том, что она показывает, как капитализм, отнюдь не будучи единственной жизнеспособной политэкономической системой, на деле готов к разрушению всей окружающей среды человеческого рода. Отношение между капитализмом и экокатастрофой не является ни простым совпадением, ни какой-то случайностью: потребность капитала в «постоянно расширяющемся рынке», его «фетиш роста» означает, что капитализм по самой своей природе противен любому представлению об устойчивости.

Однако экологические вопросы уже стали спорной территорией, местом, где идет борьба за политизацию. Я хочу выделить две другие апории капиталистической системы, которые пока еще весьма далеки от подобного уровня политизации. Первая — это душевное здоровье. В действительности душевное здоровье является парадигмальным случаем функционирования капиталистического реализма. Капиталистический реализм настаивает на том, что к душевному здоровью следует относиться так, словно бы оно было неким природным фактом вроде погоды (правда, и погода уже стала не только природным фактом, но и политическим и экономическим эффектом). В 1960-1970-е годы радикальная теория и политика (Лэйнг, Фуко, Делёз, Гваттари и др.) сфокусировались на таких крайних формах психических болезней, как шизофрения, при этом утверждалось, что безумие является не природной, а политической категорией. Однако теперь мы нуждаемся в политизации гораздо более распространенных расстройств. Их распространение действительно проблема: в Британии депрессия стала заболеванием, с которым наиболее часто приходится иметь дело врачам из Национальной службы здравоохранения. В книге «Эгоистический капиталист» Оливер Джеймс убедительно продемонстрировал корреляцию между ростом числа психических расстройств и неолиберальным режимом капитализма, внедренным в таких странах, как Британия, США и Австралия. Поддерживая тезисы Джеймса, я хочу доказать, что необходимо реформировать все более тревожную проблему стресса (и депрессии) в капиталистических обществах. Вместо того чтобы

относиться к ней так, словно именно индивиды должны как-то избавляться от своей психологической подавленности, то есть, вместо того чтобы принимать за должное общераспространенную *приватизацию стресса*, которая была проведена за последние тридцать лет, нам надо спросить: как стало приемлемым то, что так много людей болеют, особенно среди молодежи? «Эпидемия психических расстройств» в капиталистических обществах может указать на то, что капитализм, не являясь единственной работающей социальной системой, на самом деле дисфункционален по самой своей природе, так что издержки на демонстрацию его работоспособности весьма велики.

Другой феномен, который я хотел бы выделить, — это бюрократия. Выступая с обвинениями против социализма, нелиберальные идеологи часто поносили вертикальную бюрократию, которая якобы привела к институциональному омертвлению и к неэффективности плановой экономики. Предполагалось, что с победой нелиберализма бюрократия просто выйдет из оборота, оставшись в виде реликвии позорного сталинистского прошлого. Однако такое представление расходится с опытом большинства людей, работающих и живущих при позднем капитализме, у которых бюрократия отнимает весьма значительную часть повседневной жизни. Никуда не девшись, бюрократия просто изменила свою форму. Ее новая, децентрализованная форма позволила ей развиваться и усилиться. Сохранение бюрократии в позднем капитализме не указывает на то, что капитализм не работает, скорее оно говорит о том, что способ реального функционирования капитализма весьма отличен от той картины, которая предлагается капиталистическим реализмом.

Я решил сосредоточиться на проблемах душевного здоровья и бюрократии в том числе и потому, что они стали как нельзя более заметными в той сфере культуры, которая все больше и больше подчинялась императивам капиталистического реализма, а именно в образовании. Большую часть прошедшего десятилетия я проработал преподавателем в колледже системы дополнительного образования, поэтому в этой книге я часто использую накопленный там опыт. В Британии колледжи дополнительного образования обычно были местами, куда учащихся, часто из рабочих классов, привлекали, если они хотели получить альтернативу более формальным государственным образовательным институтам. Но с тех пор как эти колледжи в начале 1990-х были выведены из юрисдикции муниципалитетов, они стали подвергаться «рыночному» давлению и государственной стандартизации. Они оказались на передовой тех изменений, которые пройдутся катком по всей образовательной системе и государственным службам, своего рода лабораторией, в которой испытываются нелиберальные «реформы» образования. Поэтому они стали отличным местом, с которого можно начать анализ последствий капиталистического реализма.

#### 4. Рефлексивное бессилие, иммобилизация и либеральный коммунизм

В отличие от своих предшественников 1960-1970-х годов, британские студенты сегодня, похоже, совершенно безразличны к политике. И если французских студентов можно, как и раньше, встретить на улицах, где они протестуют против неолиберализма, британские студенты, чье положение несравненно хуже, похоже, покорились судьбе. Однако я считаю, что это не вопрос апатии или цинизма, а проявление *рефлексивного бессилия*. Они знают, что все плохо, но, кроме того, они знают, что они не могут с этим ничего поделать. При этом само это «знание», эта рефлексивность не пассивное наблюдение над уже сложившимся положением вещей, а самосбывающееся пророчество.

Рефлексивным бессилием можно назвать неотчетливое мировоззрение молодых британцев, коррелятом которого являются широко распространенные патологии. У многих подростков, с которыми я работал, были проблемы с психическим здоровьем или с образовательным процессом. Депрессия повсеместна. Это заболевание, с которым чаще всего имеют дело врачи Национальной службы здравоохранения, причем оно поражает все более молодых людей. Число студентов с тем или иным вариантом дислексии поразительно. Не будет преувеличением сказать, что быть подростком в современной Британии — уже значит быть классифицированным в качестве болезни. Патологизация, в свою очередь, закрывает любую возможность политизации. Приватизация этих проблем, предполагающая, что к ним надо относиться так, словно бы они были вызваны химическим дисбалансом в индивидуальной нервной системе и/или обстановкой в семье, исключает любой вопрос о системных социальных причинах этих состояний.

Многие из учащихся подростков, с которыми я сталкивался, находились в состоянии, которое я назвал бы депрессивной гедонией. Обычно депрессия характеризуется как состояние ангедонии, однако то расстройство, которое я имею в виду, определяется не неспособностью получать удовольствие, а как раз неспособностью выполнять что-либо *помимо* поиска удовольствия. Появляется чувство, что «чего-то не хватает», но нет понимания того, что к этому таинственному недостающему наслаждению можно прийти, только если выйти *по ту сторону* принципа удовольствия. По большей части это результат двусмысленной структурной позиции учащихся, зажатых между своей старой ролью субъектов дисциплинарных институтов и новым статусом потребителей услуг. В одном из своих наиболее значительных эссе «Послесловие к обществам контроля» Делёз различает описанные Фуко дисциплинарные общества, которые были организованы вокруг замкнутых пространств фабрики, школы и тюрьмы, и новые общества контроля, в которых все институты погружены в рассеянную корпорацию.

Делёз справедливо отмечает, что пророком распределенной кибернетической власти, типичной для обществ контроля, был Кафка. В «Процессе» Кафка проводит важное различие между двумя типами оправдания, доступного для обвиняемого. Полное оправдание более невозможно, да и вряд ли оно вообще когда-то существовало («Говорят, что такие случаи оправдания бывали... о старых судебных процессах сохранились только легенды»). Следовательно, остаются два варианта: (1) «мнимое оправдание», при котором обвиняемый оправдывается по всем пунктам обвинения, однако позже, в самый непредвиденный момент, они снова могут быть ему предъявлены; и (2) волокита, при которой обвиняемые ввязываются в процесс судебного разбирательства (который, как они надеются, может затянуться до бесконечности), так что вероятность вынесения последнего страшного приговора снижается почти до нуля. Делёз замечает, что общества контроля, описанные Кафкой, Фуко и Берроузом, действуют посредством бесконечно долгой волокиты. Образование стало пожизненным процессом, тренинг продолжается, пока не завершена ваша рабочая жизнь. Домой вы берете с собой работу... работаете дома, а на работе устраиваете дом. Следствием этого «неопределенно долгого» режима власти является то, что внешний надзор замещается внутренним управлением. Контроль работает только тогда, когда вы заодно с ним. Отсюда берется берроузовская фигура «контроль-зависимого»

(Control Addict) — субъекта, который привязан к контролю и который при этом неизбежно покоряется, подчиняется Контролю.

Зайдите в любой класс в колледже, в котором я преподавал, и вы сразу же поймете, что вы оказались в постдисциплинарном пространстве. Фуко в свое время занимался тщательным изучением всех методов укрепления дисциплины посредством неподвижных поз тела. Но во время уроков в нашем колледже ученики могут распластаться на столе, они почти постоянно говорят и беспрестанно что-то жуют (или даже — в некоторых случаях — просто обедают). Старая дисциплинарная разбивка времени рухнула. Тюремный режим дисциплины размывается технологиями контроля с их системами постоянного потребления и непрерывного развития.

Система финансирования колледжа предполагает, что он просто не может позволить себе исключать учащихся, даже если бы и возникло такое желание. Ресурсы распределяются среди колледжей в зависимости от того, насколько успешны они по своим показателям (результатам экзаменов), посещаемости и количеству учащихся. Эта комбинация рыночных императивов и бюрократически определяемых «показателей» типична для всех инициатив «рыночного сталинизма», которые ныне регулируют сферу государственных служб. Если говорить осторожно, отсутствие эффективной дисциплинарной системы не было восполнено повышением внутренней мотивации студентов. Студенты знают, что если они не будут приходить в колледж неделями и/или если они ничего не будут делать, они не столкнутся с серьезным наказанием. Обычно они отвечают на эту свободу не разработкой собственных проектов, а впадая в гедоническую (или ангедоническую) расслабленность — мягкую бесчувственность, комфортное забытие с едой у игровой приставки, ночные просмотры телевизора и курение марихуаны.

Попросите учеников прочитать больше двух предложений, и многие — причем я имею в виду отличников — начнут сопротивляться, утверждая, что они *не могут сделать этого*. Чаще всего они жалуются учителям, что «это скучно». И проблемой тут оказывается вовсе не содержание письменного текста, а сам акт чтения, который считается «скучным». Здесь мы сталкиваемся не с хорошо известным подростковым ступором, а с расхождением между постграмотной «новой плотью», которая «слишком зависла в Сети, чтобы сконцентрироваться», и ограничительными концентрационными логиками разлагающихся дисциплинарных систем. Скучать — значит просто быть отделенным от коммуникативной матрицы SMS-сообщений, YouTube и фастфуда, действующих в качестве стимула и реакции. То есть быть отлученным на какой-то момент от постоянного потока сладковатого вознаграждения, выдаваемого по запросу. Некоторые ученики хотят Ницше так же, как гамбургер. Им не удастся понять — и логика системы потребления поддерживает такое непонимание, — что Ницше *и есть* само неудобоваримое, сама проблема.

Приведу иллюстрацию: я спросил одного студента, почему он всегда носит в классе наушники. Он ответил, что это не имеет значения, поскольку на самом деле он никакой музыки не слушает. На другом уроке он играл музыку на очень низкой громкости через наушники, которые не держал в ушах. Когда я попросил его выключить их, он ответил, что даже он не слышит их. Зачем носить наушники, если не слушаешь музыку, и зачем проигрывать музыку, если не вставляешь наушники в уши? Наличие наушников в ушах или знание о том, что музыка играет (даже если он не мог ее услышать), выполняло функцию подтверждения того, что матрица *по-прежнему* здесь, в пределах досягаемости. Кроме того, как в классическом примере интерпассивности: если музыка продолжала играть, хотя он и не мог ее слышать, значит плеер мог по-прежнему наслаждаться этой музыкой вместо него. Использование наушников весьма важно — поп-музыка переживает не как что-то способное воздействовать в публичном пространстве, а как уход в «эдайподный» (OedIpod) потребительский рай, как отгораживание от всего социального.

Следствием привязки к матрице развлечений является дерганая, возбужденная

интерпассивность, неспособность сконцентрироваться или сфокусироваться. Неспособность студентов связать теперешнюю нехватку сосредоточенности с будущими неудачами, их неспособность осуществить синтез времени, чтобы получить некоторое связное повествование, — это симптом не только демотивации. В действительности это зловещая отсылка к анализу Джеймисона из работы «Постмодернизм и общество потребления». Джеймисон заметил, что лакановская теория шизофрении предлагает нам «мощную эстетическую модель» понимания фрагментации субъективности, сталкивающейся с развивающимся промышленно-развлекательным комплексом. Джеймисон пришел к выводу о том, что «при крушении означающей цепочки шизофреник сводится к опыту чистых материальных означающих, или, другими словами, серий чистых и не связанных друг с другом моментов настоящего». Джеймисон писал это в конце 1980-х, то есть в период, когда как раз родились почти все мои ученики. В классах мы имеем сейчас дело с поколением, рожденным в антиисторической, антимнемонической блип-культуре, то есть поколением, которому время всегда доставалось уже нарезанным на цифровые микроломтики.

Если главной фигурой дисциплины был рабочий-заклученный, фигурой контроля является должник-зависимый. Киберпространственный капитал действует путем провоцирования зависимости у своих пользователей. Уильям Гибсон отметил это в «Нейроманте», описав, как Кейс и другие киберковбои чувствуют, как под их кожей шевелятся насекомые, когда они отключаются от матрицы (пристрастие Кейса к амфетамину — лишь замена зависимости от более абстрактной скорости). В таком случае, если синдром дефицита внимания и гиперактивности является патологией, это патология позднего капитализма, то есть следствие подключения к развлекательно-контрольным контурам гипермедиированной культуры потребления. Подобным образом и то, что называют дислексией, во многих случаях может оказаться *постлексией*. Подростки весьма эффективно обрабатывают визуальные сигналы капитала, не чувствуя никакой потребности в чтении — для навигации по сетевому мобильно-рекламному информационному пространству достаточно распознавания слоганов. Как писали Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе», «письмо никогда не было собственностью капитализма», «электронный язык не опосредуется голосом или письмом: обработка данных в них не нуждается». Отсюда и причина, по которой так много бизнесменов страдают дислексией (но неясно, чем является их постлексическая эффективность — причиной или следствием их успешности).

Сегодня учителя испытывают нестерпимое давление со стороны требований связать постграмотную субъективность позднекапиталистического потребителя с запросами дисциплинарного режима (экзаменов и т. п.). Вот одна из причин, по которой образование, как никогда далекое от башен из слоновой кости, в которых оно могло бы замкнуться от реального мира, стало машинным отделением воспроизводства общественной реальности, напрямую контактирующим с рассогласованиями капиталистического социального поля. Преподаватели мечутся между ролью массовика-затейника и дисциплинарного авторитета. Они хотят помочь ученикам сдать экзамены, а те хотят, чтобы мы были авторитетными фигурами, которые скажут им, что делать. Ученики ожидают от учителей, что они будут авторитетными фигурами, что только обостряет проблему «скуки», ведь разве всё, что возникает из авторитета, не является скучным по определению? Ирония в том, что от преподавателей все больше требуют сегодня стать надзирателями — и это именно в тот момент, когда дисциплинарные структуры в институтах рушатся. Когда семьи пытаются выдержать давление капитализма, который требует, чтобы оба родителя работали, от учителей все больше хотят того, чтобы они стали суррогатными родителями, которые могут заложить базовые поведенческие протоколы в головы учеников, а также дать отеческое наставление и моральную поддержку подросткам, которые иногда социализированы лишь на самом элементарном уровне.

Стоит подчеркнуть, что ни один из учеников, которым я преподавал, не был официально обязан посещать колледж. Если бы они захотели, они могли уйти. Однако отсутствие каких бы от ни было осмысленных возможностей

трудоустройства в совокупности с цинической поддержкой со стороны правительства означает, что колледж представляется им более простым, более безопасным вариантом. Делёз говорит, что общества контроля основаны на долге, а не на заключении. Однако у теперешней образовательной системы есть способ одновременно сделать учащихся должниками и заключенными. Логика требует: платите за свою собственную эксплуатацию, берите в долг, и тогда вы сможете получить ту же работу в «Макдональдсе», которая была бы у вас, окончив вы школу в шестнадцать лет...

Джеймисон отмечал, что «крах темпоральности внезапно высвобождает момент настоящего, избавляя его от всех форм деятельности и интенциональности, которые могли бы сфокусировать его и сделать пространством праксиса». Однако ностальгия по контексту, в котором действовали прежние типы праксиса, просто-напросто бесполезна. Вот почему французские студенты в конечном счете не предлагают никакой альтернативы британскому рефлексивному бессилию. И хотя вряд ли удивительно, что неолиберальный журнал *Economist* начинает высмеивать французское сопротивление капитализму, насмешка над французской «иммобилизацией» в какой-то мере попадает в цель. Вот что мы читаем в передовице этого журнала от 30 марта 2006 года:

Конечно, студенты, ставшие инициаторами последней волны протестов, вероятно, считают, что они повторяют события мая 1968 года, когда их родители выступили против Шарля де Голля. Они позаимствовали лозунги прежних событий («Под мостовой — пляж!») и похитили их символы (Сорбонна). В этом смысле мятеж кажется естественным продолжением волнений в пригородах [в 2005 г.], который заставил правительство ввести чрезвычайное положение. Тогда безработные и деклассированные этнические меньшинства взбунтовались против системы, которая исключала их. В недавнем протестном движении удивительно, однако, что на этот раз мятежные силы стоят на стороне консерватизма. В отличие от бунтующей молодежи из *banlieues*, цель студентов и профсоюзов сотрудников государственного сектора — не допустить изменений и сохранить Францию в том виде, в каком она существует.

Поразительно, что практика многих иммобилизаторов оказалась переворачиванием практики другой группы, которая тоже числит себя наследницей 1968-го, — так называемых «либеральных коммунистов», таких как Джордж Сорос и Билл Гейтс, соединяющих неустанную гонку за прибылью с риторикой экологической озабоченности и социальной ответственности. Помимо социальной озабоченности либеральные коммунисты высказывают мнение, что практики труда следует (пост)модернизировать, привести их в соответствие с концепцией «будь умным». Как поясняет Жижек,

быть умным — значит быть динамичным и номадичным, быть против централизованной бюрократии; верить в диалог и кооперацию, а не в центральную власть; в гибкость, а не в рутину; в культуру и знания, а не в промышленное производство; в спонтанное взаимодействие и аутопоэзис, а не в заданную иерархию.

Вместе они — иммобилизаторы, молчаливо согласные с тем, что капитализму можно только сопротивляться, но нельзя его преодолеть, и либеральные коммунисты, утверждающие, что аморальные эксцессы капитализма следует смягчать благотворительностью, — позволяют понять, как капиталистический реализм очерчивает границы актуальных политических возможностей. Хотя иммобилизаторы и придерживаются форм протеста 1968 года, но лишь во имя сопротивления изменениям. Жижек верно показывает, что либеральный коммунизм, вовсе не предлагая прогрессивной поправки к официальной капиталистической идеологии, сегодня является господствующей идеологией капитализма. «Гибкость», «номадизм» и «спонтанность» — это отличительные признаки менеджмента в постфордистском обществе контроля. Однако проблема в том, что любое сопротивление гибкости и децентрализации рискует тут же потерпеть поражение, поскольку призывы к негибкости и централизации вряд ли могут показаться, так сказать, многообещающими.

В любом случае, сопротивление «новому» не является той задачей, вокруг которой могли бы или должны были бы объединиться левые. Капитал отлично продумал, как разгромить рабочую силу. Однако пока еще недостаточно продумано, какая тактика сработает против капитала в условиях постфордизма и какой *новый язык* можно изобрести, чтобы работать с этими новыми условиями. Важно оспорить осуществляемое капитализмом присвоение «нового», однако восстановление прав на «новое» не может реализоваться через приспособление к условиям, в которых мы находимся, ведь мы и так уже слишком успешно справились с этой задачей, тогда как «успешное приспособление» является основной стратегией менеджериализма.

Постоянная ассоциация неолиберализма с «реставрацией», поддерживаемая и Бадью, и Дэвидом Харви, — важная поправка к связке капитала с новациями. По Харви и Бадью, неолиберальная политика занята не новым, а *возвращением* классовой власти и привилегий. «Во Франции, — заметил Бадью, — Реставрация означает период возвращения короля в 1815 году, то есть после Революции и Наполеона. Мы живем в такой период. Сегодня мы считаем либеральный капитализм и его политическую систему, парламентаризм, единственными естественными и приемлемыми решениями». Харви утверждает, что неолиберализацию лучше всего представить как «*политический* проект по воссозданию условий для накопления капитала и восстановления власти экономических элит». Харви показывает, что в эпоху, обычно описываемую в качестве «постполитической», классовая война велась, как и прежде, но только одной стороной — богачами. По словам Харви, после введения неолиберальных программ в конце 1970-х годов

доля национального дохода, приходящаяся на 1 % наиболее богатых получателей доходов, достигла 15 %... к концу столетия. Самые богатые 0,1 % получателей дохода в США увеличили свою долю в национальном доходе с 2 % в 1978 году до 6 % в 1999 году, тогда как соотношение среднего заработка рабочих в зарплате генеральных директоров увеличилось от 30:1 в 1970 году примерно до 500:1 — в 2000-м... США тут не одиноки: 1 % получателей прибыли в Британии удвоил после 1982 года свою долю в национальном доходе с 6,5 до 13 %.

Как показывает Харви, неолибералы были более ленинистами, чем сами ленинисты, поскольку в качестве интеллектуального авангарда они использовали «мозговые центры» (think tanks), чтобы создать идеологический климат, в котором мог бы расцвести капиталистический реализм.

Модель иммобилизации, которая сводится к требованию сохранить фордистский/дисциплинарный режим, вряд ли сработает в Британии и других странах, которые неолиберализм уже застолбил в качестве своей территории. Фордизм окончательно рухнул в Британии, а вместе с ним все те места, вокруг которых была организована старая политика. В конце своего эссе о контроле Делёз спрашивает, какие новые формы могла бы принять политика, выступающая против контроля:

Один из наиболее важных вопросов будет касаться неповоротливости профсоюзов: будучи привязанными ко всей истории борьбы против дисциплин или внутри пространства заключения, смогут ли они приспособиться или же уступят новым формам сопротивления обществам контроля? Можем ли мы уже представить грубые очертания будущих форм, способных стать угрозой радостям маркетинга? Многие молодые люди странным образом хвалятся тем, что они «мотивированы». Они снова и снова требуют учебы и постоянного тренинга. Именно они должны открыть, чему они готовы служить, так же, как и их родители открыли, но не без затруднений, телос дисциплин.

Таким образом, следует найти выход из бинарной оппозиции мотивации/демотивации, дабы разотождествление с программой контроля регистрировалось как нечто отличное от подавленности и апатии. Одной из стратегий мог бы стать сдвиг политической территории — переход от профсоюзов с их традиционной сосредоточенностью на вопросе зарплаты к формам несогласия, специфичным для постфордизма. Прежде чем продвинуться в нашем анализе еще на один шаг, мы

должны уделить больше внимания тому, чем на самом деле является постфордизм.

## 5. Шестое октября 1979 года: «Не позволяй себе привязываться»

В вышедшем в 1995 году фильме Майкла Манна «Схватка» Нил Макколи, босс группы преступников, заявляет: «Как-то один парень мне сказал: не позволяй себе привязываться к тому, что ты не захочешь бросить через полминуты, когда почувствуешь за собой погоню». Один из наиболее простых способов понять разницу между фордизмом и постфордизмом — сравнить фильм Манна с гангстерскими фильмами, которые Фрэнсис Форд Coppola и Мартин Скорсезе снимали в 1971–1990 годах. В «Схватке» сводят друг с другом счеты не семьи, сохраняющие связи с родиной, а безродные банды — и все это в хромированном и полированном Лос-Анджелесе с его сменными дизайнерскими кухнями, безликими автострадами и полуночными ужинами. Весь локальный колорит, ароматы кухни и культурные диалекты, от которых зависели персонажи «Крестного отца» и «Славных парней», затушеваны и подогнаны к новым условиям. Лос-Анджелес в «Схватке» — это мир без отметин, брендированная Паутина, в которой размеченная территория замещена бесконечно повторяющимися перспективами множасьихся франшиз. Призраки Старой Европы, преследовавшие Скорсезе и Coppola, изгнаны, похоронены вместе с древними спорами, войнами и жгучими вендеттами где-то под мультинациональными кофейнями. О мире «Схватки» можно многое узнать, если присмотреться к имени — *Нил Макколи*. Это анонимное имя, имя из поддельного паспорта, которое лишено истории (даже если оно, не без иронии, напоминает об имени британского историка лорда Макколи). Сравните с *Корлеоне* и вспомните о том, что Крестный отец носил имя своей деревни. Роль Макколи, возможно, наиболее близка личности Де Ниро как актера, то есть экрана, шифра, ледяного и лишнего глубины профессионала, сведенного к чистой подготовке, к исследованию, к Методу («Я делаю то, что у меня выходит лучше всего»). Макколи — это не мафиозный босс, не одутловатый вождь, водруженный на самую вершину барочной иерархии, управляемой кодами не менее торжественными и таинственными, чем в католической церкви, кодами, записанными кровью тысяч междоусобиц. Его команда — это профессионалы, прагматичные предприниматели-дельцы, инженеры преступлений, чье кредо прямо противоположно верности семье в *Cosa nostra*. Семейные узы в таких условиях невозможно сохранить, рассказывает Макколи неукротимому детективу Винсенту Ханна, герою Аль Пачино: «Теперь, если ты следишь за мной и должен ехать туда же, куда и я, как ты собираешься сохранить свой брак?» Ханна — это тень Макколи, он вынужден принять его бессодержательность, его постоянную мобильность. Команда Макколи, как и любая группа пайщиков, держится вместе только ожиданиями будущих доходов. Любые иные узы являются произвольными дополнениями, которые почти наверняка опасны. Сопряжение людей в команде временно, прагматично и латерально — им известно, что они являются сменными деталями машины, что нет никаких гарантий и нет ничего долгоиграющего. В сравнении с ними «славные парни» выглядят оседлыми сентименталистами, укорененными в умирающих сообществах на обреченных территориях.

Этот, поддерживаемый Макколи, соответствует тому, что Ричард Сеннет изучает в своей книге «Коррозия характера: влияние труда на личность при новом капитализме», важном исследовании тех аффективных изменений, которые вызвала постфордистская реорганизация труда. Термин, который суммирует новые условия, — «краткосрочность». Если раньше рабочие могли приобрести определенный набор навыков и ожидать, что они будут постепенно подниматься по жесткой организационной лестнице, то теперь им нужно периодически проходить переподготовку, поскольку они перемещаются из одного института в другой, от одной роли к другой. Поскольку организация труда децентрализована, а латеральные сети заменили пирамидальные иерархии, главный упор делается на «гибкость». словно бы в ответ насмешкам Макколи над Ханной из «Схватки» («Как ты собираешься сохранить свой брак?»), Сеннет подчеркивает нестерпимое давление, оказываемое этими условиями перманентной нестабильности на семейную жизнь. Ценности, от которых зависела семейная жизнь, то есть доверие, надежность, устойчивость, — все это те ценности, которые считаются устаревшими в новом капитализме. В то же время, когда публичная сфера оказалась под

обстрелом, а все гарантии, ранее обеспечиваемые «государством-нянькой», отменены, семья становится все более важным местом, где можно укрыться от давления мира с его постоянной нестабильностью.

Положение семьи при постфордистском капитализме противоречиво именно в том смысле, какой был определен традиционным марксизмом: капитализм требует наличия семьи (как главного средства воспроизводства и восстановления рабочей силы, как бальзама для психических ран, нанесенных анархическими социально-экономическими условиями), даже если он и подрывает ее (не давая родителям проводить время с детьми, вызывая у людей, которые становятся друг для друга исключительным источником аффективного утешения, тяжелые стрессы).

Согласно марксистскому экономисту Кристиану Марацци, переключение от фордизма к постфордизму можно точно датировать — оно произошло 6 октября 1979 года. Именно в этот день Федеральная резервная система подняла процентную ставку на 20 пунктов, подготавливая путь для «экономики предложения», определившей впоследствии ту «экономическую реальность», в которой мы теперь завязли. Повышение процентной ставки не только сдержало инфляцию, но и сделало возможным новую организацию средств производства и распределения. «Ригидность» фордистского конвейера уступила место новой «гибкости» — сегодня это слово вызывает непосредственную реакцию узнавания у любого трудящегося. Эта гибкость определялась дерегуляцией капитала и труда, в результате которой рабочая сила была отформатирована в рамках непостоянной работы (все большее число наемных сотрудников стало устраиваться на временных основаниях) и аутсорсинга.

Как и Сеннет, Марацци признает, что новые условия одновременно требовали усиленной кибернетизации трудовой среды и возникли из нее. Фордистская фабрика была жестко поделена на труд голубых и белых воротничков, причем разные типы труда были физически разграничены структурой самого здания. Работая в шумном цеху под присмотром бригадиров и контролеров, рабочие могли поговорить только во время перекура, в туалете, в конце рабочего дня или же когда они объявляли забастовку, поскольку коммуникация прерывала производственный процесс. Но при постфордизме, когда конвейеры превращаются в «поток информации», люди работают именно благодаря собственной коммуникации. Как учил Норберт Винер, коммуникация и контроль предполагают друг друга.

Работа и жизнь становятся нераздельными. Капитал преследует вас во снах. Время перестает быть линейным, становится хаотичным, разбивается на пунктирные отрезки. Нервные системы перестраиваются точно так же, как производство и распределение. Чтобы эффективно функционировать в качестве компонента точного производственного графика, вы должны развить способность реагировать на непредвиденные события, вы должны научиться жить в условиях того, что теперь обозначают неуклюжим неологизмом «прекаритет». Периоды труда чередуются с периодами безработицы. Обычно вы оказываетесь заняты в нескольких краткосрочных работах, лишаясь возможности планировать что-то на будущее.

И Марацци, и Сеннет указывают на то, что дезинтеграция устойчивых трудовых паттернов отчасти следовала желаниям самих рабочих — именно они не хотели, что вполне понятно, работать на одной и той же фабрике по сорок лет. Во многих отношениях левые так и не смогли оправиться от того, как их провел Капитал, мобилизовав и поглотив желание освободиться от фордистской рутины. В Британии традиционные представители рабочего класса — профсоюзы и рабочие лидеры — состояли в чересчур близком родстве с фордизмом. Стабильность антагонизмов, присущая последнему, давала им гарантию того, что они будут играть одну и ту же роль. Но это означало, что защитникам постфордистского капитала ничего не стоило представить самих себя в качестве противников статус кво, которые храбро воюют с инертными трудовыми организациями, «бессмысленно» инвестирующими себя в бесплодный идеологический антагонизм, который служил целям лидеров профсоюзов и политиков, но вряд ли отвечал

надеждам класса, который они на словах представляли. Теперь антагонизм не вынесен вовне, в противостояние классовых блоков, а помещен внутрь, в психологию рабочего, который как рабочий заинтересован в старом классовом конфликте, однако как человек с пенсионным фондом, он также заинтересован в максимизации прибылей от собственных инвестиций. Больше нет явного внешнего врага. Следствием, как указывает Марацци, является то, что постфордистские рабочие стали напоминать евреев из Ветхого Завета, после того как те оставили свой «дом рабства»: они освобождены от уз, к которым они не хотят возвращаться, но в то же время они брошены, оставлены в пустыне и не понимают, куда держать свой путь. Психологический конфликт, разгорающийся в индивидууме, неизбежно приводит к жертвам. Марацци исследует связь между распространением маниакально-депрессивных расстройств и постфордизмом, и если, как утверждали Делёз и Гваттари, шизофрения — это состояние, отмечающее внешние границы капитализма, то маниакально-депрессивный психоз — это душевная болезнь, поражающая само «нутро» капитализма. Капитализм с его бесконечными бумагами и циклами на фундаментальном уровне сам неизбежно оказывается маниакально-депрессивным, поскольку постоянно шарахается между манией перевозбуждения (иррациональные излияния «мышления в периоды пузырей») и депрессивным спадом. (Разумеется, не случаен и сам термин «экономическая депрессия».) В несравненно большей степени, чем все прежние социальные системы, капитализм одновременно питается настроениями населения и воспроизводит их. Без бредовых состояний и доверия капитализм не смог бы работать.

Кажется, что при постфордизме «невидимая эпидемия» психиатрических и аффективных расстройств, которые распространялись — скрытно и тихо — примерно с 1750 года (то есть с самого начала промышленного капитализма), обострившись, достигла нового уровня. Здесь для нас важна книга Оливера Джеймса «Эгоистический капиталист», в которой он указывает на значительное увеличение числа «психических расстройств» за последние 25 лет. Джеймс пишет:

...Согласно большинству критериев, количество расстройств почти удвоилось, если сравнивать людей 1946 года рождения (в 1982 году им было тридцать шесть лет) и 1970-го (тридцать лет в 2000-м). Например, в 1982 году 16 % 36-летних женщин сообщали, что у них имеются «проблемы с нервами, ощущение подавленности, депрессии и тревоги», тогда как о том же самом сообщали уже 29 % 30-летних женщин в 2000 году (для мужчин соответствующие цифры составляют 8 % в 1982 году и 13 % — в 2000-м).

В другом британском исследовании, цитируемом Джеймсом, сравнивались уровни психических болезней (включая невротические симптомы, фобии и депрессии) в выборках 1977 и 1985 годов. «Если в выборке 1977 года 22 % опрошенных сообщили о психиатрических болезнях, к 1986 году их число достигло почти трети населения (31 %)». Поскольку эти показатели намного выше в странах, в которых было внедрено то, что Джеймс называет «эгоистическим» капитализмом, чем в других странах, он выдвигает гипотезу, согласно которой винить надо именно эгоистическую (то есть неолиберальную) капиталистическую политику и культуру. В частности, Джеймс указывает на то, как эгоистический капитализм подогревает

...и надежды и ожидания того, что они будут осуществлены... В обществе предпринимательской фантазии лелеют ту иллюзию, что каждый может быть Аленом Шугаром или Биллом Гейтсом, хотя на самом деле вероятность подобного развития событий с 1970-х годов неуклонно сокращается — человек, рожденный в 1958 году, с гораздо большей вероятностью мог продвинуться вверх по социальной лестнице, например, за счет образования, чем рожденный в 1970 году. Токсины эгоистического капиталиста, которые наиболее опасны для благополучия человека, — это систематическое поощрение идей, будто материальное богатство — это ключ к самореализации, что только преуспевшие в материальном отношении являются победителями, причем доступ к вершинам открывается любому, кто готов достаточно упорно работать, независимо от семейных, этнических и социальных условий; так что, если вы проиграли, вы знаете, кого винить.

Предположения Джеймса относительно надежд, ожиданий и фантазий

соответствуют моим собственным наблюдениям над тем, что я назвал «гедонической депрессией» британской молодежи.

В этом контексте роста числа психических болезней показательным то, что новые лейбористы в начале своего третьего срока в правительстве обязались лишить кое-кого *Incapacity Benefit*, неявно подразумевая, что многие, если не все, из тех, кто требует пособия, являются симулянтами. Вопреки этой посылке, кажется, однако, вполне разумным предположить, что большинство людей, получающих пособие *Incapacity Benefit*, — а их более двух миллионов, — это на самом деле жертвы капитала. Например, значительную часть этих людей составляют те, кто получил психологические травмы в результате капреалистической пропаганды того, что такие отрасли, как горное дело, с экономической точки зрения уже не могут быть жизнеспособными. (Но даже в чисто экономическом смысле аргументы относительно «жизнеспособности» представляются не столь уж убедительными, особенно если вы учтете затраты налогоплательщиков, обусловленные нетрудоспособностью и разными пособиями.) Многие просто сломались в чудовищно нестабильных условиях постфордизма.

Актуальная правящая онтология отрицает любую возможность социальной детерминации психических болезней. Разумеется, сведение психического заболевания к химико-биологическому уровню точно соответствует его деполитизации. Представление психической болезни в качестве химико-биологической проблемы конкретного индивидуума приносит капитализму огромные прибыли. Во-первых, оно подкрепляет стремление Капитала к атомистической индивидуализации (вы больны по причине особой химии вашего мозга). Во-вторых, оно создает весьма прибыльный рынок, на котором торгуют своими препаратами мультинациональные фармакологические компании (мы можем вылечить вас при помощи наших ингибиторов обратного захвата серотонина). Понятно, что все психические болезни *реализуются* на неврологическом уровне, однако это еще никак не объясняет их *причины*. Например, хотя верно то, что депрессия определяется низким уровнем серотонина, надо ведь еще объяснить, почему у отдельных индивидуумов такой низкий уровень. А это уже требует социального и политического объяснения. Поэтому задача реполитизации психической болезни представляется абсолютно безотлагательной, если левые действительно хотят бросить вызов капиталистическому реализму.

Нет ничего странного в том, что мы видим параллели между ростом психической заболеваемости и новыми паттернами оценки производительности рабочих. Теперь нам предстоит более внимательно присмотреться к этой «новой бюрократии».

## **6. Все прочное расплавляется в пиар: рыночный сталинизм и бюрократическое антипроизводство**

Несправедливо недооцененный фильм Майка Джаджа «Офисное пространство» (*Office Space*, 1999) столь же точно описывает структуру рабочего места 1990-х и 2000-х, как фильм Шредера «Конвейер» (*Blue Collar*, 1978) описывал рабочие отношения 1970-х. В фильме Джаджа изображается уже не столкновение представителей профсоюза и менеджмента на фабрике, а корпорация, оцепеневшая в административном «антипроизводстве»: работники постоянно получают многочисленные приказы различных начальников, в которых говорится совершенно одно и то же. Естественно, в приказе речь идет о бюрократической практике: он требует выполнения новой процедуры, согласно которой отчеты нужно укладывать в специальные «папки». Соответствуя этосу, выраженному формулой «будь умным», менеджерский стиль в «Офисном пространстве» оказывается при этом смесью панибратства с холодным авторитаризмом. Джадж показывает, что тот же самый менеджериализм царствует в сетевых кофейнях, куда заходят отдохнуть служащие офисов. Здесь от персонала требуется, чтобы они украшали свои костюмы «семью знаками хорошего настроения» (то есть значками или какими-то другими символами), чтобы выразить свою «индивидуальность и креативность». Это весьма наглядная иллюстрация того, как «креативность» и «самовыражение» стали внутренними элементами труда в обществах контроля, которые, как показали Паоло Вирно, Ян Мулье Бутан и другие, предъявляют рабочим не только производительные, но и аффективные требования. Кроме того, многое говорит о новом порядке и попытке строго подсчитывать эти аффективные взносы. Пример с настроением указывает на особый феномен — на ожидания, скрытые за официальными стандартами. Джоанна, официантка в кафе, носит именно семь значков, но ей дают понять, что, хотя *официально* достаточно семи, *на самом деле* этого недостаточно: менеджер спрашивает ее, хочет ли она выглядеть, как тот, кто «просто делает самый минимум».

«Знаешь что, Стэн, если ты хочешь, чтобы я носила тридцать семь значков настроения, — возражает Джоанна, — почему ты не сделаешь минимумом тридцать семь значков?»

«Но, — отвечает менеджер, — я, кажется, помню, как ты говорила, что хочешь найти самовыражение». Достаточно больше недостаточно. С этим синдромом познакомятся многие работники, которые обнаружат, что при оценке эффективности бал «удовлетворительно» больше не является удовлетворительным. Например, во многих образовательных организациях, если во время школьной ревизии учитель получает оценку «удовлетворительно», от него потребуют пройти тренинг перед повторной оценкой.

Может показаться странным, что бюрократические меры *усиливаются* при неолиберальных правительствах, которые характеризовали самих себя в качестве антибюрократических и антисталинистских. Однако получили развитие новые формы бюрократии — через «показатели», «результаты», «формулировки задачи», — хотя неолиберальная риторика, вещающая о конце вертикального и централизованного контроля, закрепила свою победу. Может показаться, что бюрократия — это что-то вроде возвращения вытесненного, то, что иронично возрождается в самом сердце системы, которая проповедовала ее разрушение. Однако возрождение бюрократии при неолиберализме не просто атавизм или аномалия.

Как я уже указывал, нет противоречия между императивом «будь умным» и усилением администрирования и регуляции: это просто две стороны труда в обществах контроля. Ричард Сеннет утверждал, что уплощение пирамидальных иерархических структур на самом деле привело к большему надзору за рабочими:

Один из аргументов в пользу новой организации труда заключается в том, что она децентрализует власть, то есть дает людям на нижнем уровне организации больше контроля над собственными действиями. Но этот аргумент определенно неверен в

силу тех методов, которые применяются для разрушения старых бюрократических монстров. Новые информационные системы дают топ-менеджерам гораздо более полную картину всего происходящего в организации, так что индивидам, включенным в сеть, уже практически негде спрятаться.

Но дело не только в том, что эта информационная технология дала менеджерам доступ к более обширным данным, но и в том, что умножилось число самих этих данных. Значительная часть этой информации поставляется самими сотрудниками. Массимо де Анджелис и Дэвид Харви описывают некоторые бюрократические меры, которые должен выполнять лектор, когда он составляет модуль для студентов в британских университетах. Де Анджелис и Харви пишут:

Для каждого модуля «ведущий модуль» (ВМ, то есть лектор) должен заполнить массу бумаг, в частности «спецификацию модуля» (в начале), в которой перечислены, например, «цели и задачи» модуля, получаемые студентами балы, «способы и методы оценки»; «обзор модуля» (при его завершении), в котором ВМ сообщает о собственной оценке сильных и слабых сторон модуля, а также предлагает изменения на следующий год; сводку реакции со стороны студентов; средние оценки и их дисперсию.

Но это только начало. По программе той или иной дисциплины преподаватели должны подготавливать «спецификацию программы», а также предоставлять «ежегодные отчеты по программе», в которых фиксируется успеваемость студентов, оцениваемая по «коэффициенту прогресса», «коэффициенту регресса», составу и разбросу оценок. Все оценки студентов должны быть распределены по «матрице». Такой самонадзор дополняется тестами, проводимыми внешними властями. Оценки за студенческие работы подвергаются мониторингу со стороны внешних экзаменаторов, которые должны поддерживать выполнение стандартов во всем университетском секторе. За лекторами должны наблюдать их коллеги, тогда как факультеты подвергаются периодическим трех- или четырехдневным инспекциям, проводимым Агентством по контролю за качеством в сфере высшего образования (Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA). Если лекторы являются «активными исследователями», они должны предоставлять каждые четыре или пять лет «четыре своих лучших публикации», которые оцениваются специальным советом в рамках Комиссии исследовательской оценки (Research Assessment Exercise; в 2008 году она была заменена не менее сомнительным Корпусом исследовательских достижений, Research Excellence Framework). Де Анджелис и Харви не скрывают, что это лишь общие контуры *некоторых* бюрократических задач, которые должны выполнять преподаватели, причем все они влияют на финансирование соответствующих институтов. Вся эта тьма бюрократических процедур, конечно, встречается не только в университетах или в образовании в целом, другие государственные службы, например Национальная служба здравоохранения или полиция, тоже увязли в метастазах бюрократии.

Отчасти это следствие внутреннего сопротивления некоторых процессов и служб маркетинга. (Например, предположительная маркетинговая образовательная опирается на неясную и неразвернутую аналогию: кем являются студенты — *потребителями* услуг или их *продуктом*?) Предполагалось, что идеализированный рынок должен обеспечить «абсолютно гладкий» обмен, при котором желания потребителей будут точно удовлетворяться, что отменит необходимость вмешательства или опосредования регулируемыми агентствами. Однако стремление оценивать производительность работников и измерять те формы труда, которые по своей природе сопротивляются квалификации, должно было неминуемо потребовать дополнительных уровней менеджмента и бюрократии. В результате мы получаем не прямое сравнение производительности сотрудников или их результатов, а сравнение полученных в ходе аудита *представлений* этой производительности или результатов. И поэтому неизбежно происходит короткое замыкание, и сам труд перенаправляется на порождение и обработку представлений, а не на официальные цели конкретной трудовой деятельности. В одном антропологическом исследовании работы местных органов власти в Британии утверждается, что «больше сил уходит на правильное

отображение работы местных властей, чем на действительное повышение качества этой работы». Такое переворачивание приоритетов — один из отличительных признаков системы, которую безо всяких преувеличений можно назвать «рыночным сталинизмом». Поздний капитализм заимствует из сталинизма именно это превознесение символов достижений над реальными достижениями. Маршал Берман, описывая сталинский проект построения Беломорканала в 1931–1933 годах, отметил:

Похоже, Сталину так хотелось создать яркий символ развития, что он стал подправлять и зажимать проект, в результате лишь помешав его действительному *продвижению*. Поэтому рабочим и инженерам не дали времени, денег и оборудования, которые были необходимы, чтобы построить канал, достаточно глубокий и безопасной для транспортировки современных грузов. В итоге канал так и не стал играть сколько-нибудь значительной роли в советской торговле или промышленности. Видимо, он мог обеспечить движение только туристических пароходов, которые в 1930-е годы были переполнены советскими и иностранными писателями, услужливо прославлявшими трудовой героизм. Но канал стал триумфом рекламы. Если хотя бы половина усилий, потраченных на пиар-кампанию, была посвящена самой работе, жертв было бы гораздо меньше, а реальных успехов — гораздо больше, и тогда проект был бы настоящей трагедией, а не жестоким фарсом, в котором реальные люди были убиты псевдособытием.

Под воздействием какого-то странного влечения к повторению демонстративно антисталинистское неолиберальное правительство новых лейбористов обнаружило ту же самую тенденцию к развитию инициатив, в которых следствия в реальном мире значат только в той мере, в какой они зарегистрированы на уровне (пиарной) видимости. О многом здесь могут сказать знаменитые «показатели», которые с таким рвением внедрялись неолейбористским правительством. В ходе процесса, который повторяется с железной необходимостью везде, где они были введены, показатели быстро перестают быть способом измерения производительности и становятся целью в себе. Обеспокоенность падающими показателями на школьных экзаменах стала закономерным явлением каникулярного периода в Британии. Но даже если студенты сейчас не так хорошо учатся и не так хорошо подкованы, как их предшественники, обусловлено это не падением качества *самих* экзаменов, а тем фактом, что все обучение направлено на сдачу экзаменов. Узко сфокусированное «натаскивание» заменяет более широкий подход к предмету. Точно так же и больницы выполняют множество рутинных процедур вместо нескольких серьезных и неотложных операций, поскольку это позволяет им более эффективно выполнить показатели, по которым они оцениваются (коэффициенты оперативности, успешности и уменьшения очередей).

Было бы ошибкой считать этот рыночный сталинизм неким отклонением от «истинного духа» капитализма. Напротив, вернее будет сказать, что одна существенная особенность сталинизма была ослаблена ее связью с таким общественным проектом, как социализм, поэтому она может проявиться *лишь* в поздне-капиталистической культуре, в которой образы приобрели автономную силу: то, как стоимость порождается на фондовой бирже, зависит, естественно, не столько от того, что «реально делает» компания, сколько от оценок ее (будущей) эффективности и мнений о ней. То есть при капитализме все прочное расплавляется в пиар, так что поздний капитализм определяется этой повсеместной тенденцией к пиар-производству — по крайней мере, в не меньшей степени, чем навязыванием рыночных механизмов.

Здесь ключевое значение приобретает разработанное Жижекком лакановское понятие «большого Другого». Большой Другой — это коллективная фикция, символическая структура, предполагаемая любым социальным полем. Никогда нельзя встретить большого Другого как такового — мы всегда имеем дело только с его заместителями. И не всегда его представители это собственно вожди. Например, если взять тот же пример с Беломорканалом: представителем большого Другого был не Сталин, а скорее советские и иностранные писатели, которых надо было убедить в достоинствах проекта. Важным качеством большого Другого

является то, что он знает не все. Именно это конститутивное незнание большого Другого позволяет функционировать публичным отношениям. В самом деле, большого Другого можно определить в качестве потребителя пиара или пропаганды, то есть виртуальной фигуры, которая должна поверить, даже если ни один индивидуум уже не способен верить. Возьмем один из примеров Жижека: кому, в конечном счете, не было известно, что реально существующий социализм (РСС) — нечто весьма жалкое и прогнившее? Это не могли быть люди из народа, которым все проблемы этого социализма были известны не понаслышке; это не могли быть и администраторы из правительства, которые тоже не могли не знать. Нет, именно большой Другой был тем, кто, как считалось, не знает, кому не было разрешено знать о повседневной реальности РСС. Однако различие между тем, что большой Другой знает, то есть тем, что официально приемлемо, и тем, что широко известно и ощущается индивидуумами в их непосредственном опыте, — далеко не «просто» пустое формальное различие: именно этот разрыв позволяет функционировать «обычной» социальной реальности. Когда иллюзию того, что большой Другой не знает, уже невозможно поддерживать, бестелесная ткань, поддерживающая единство социальной системы, рвется. Вот почему речь Хрущева в 1965 году, в которой он «допустил» существование промахов в советском государстве, оказала такое воздействие. Дело не в том, что кто-то в партии не знал о жестокостях и коррупции, которые творились от ее имени, просто заявление Хрущева лишило возможности и дальше верить в то, что большому Другому о них не известно.

Такова ситуация с реально существующим социализмом, но как обстоят дела с реально существующим капитализмом? Один из способов понять «реализм» капиталистического реализма — обратиться к тезису об отказе от веры в большого Другого. Постмодернизм можно представить в качестве названия для комплекса кризисов, запущенных упадком веры в большого Другого, что предполагается знаменитым определением состояния постмодерна, данного Лиотаром, — то есть «недоверием к метанарративам». Конечно, Джеймисон согласился бы с тем, что «недоверие к метанарративам» — это выражение «культурной логики позднего капитализма», следствие переключения на пост-фордистский способ накопления капитала. Ник Лэнд живописует одну из наиболее эйфорических картин «постмодернистской переплавки культуры в экономику». В работе Лэнда кибернетически перестроенная невидимая рука все больше и больше устраняет централизованную государственную власть. В текстах Лэнда 1990-х годов был выполнен синтез кибернетики, теории комплексности, киберпанка и неолиберализма, целью которого было создание некоей картины глобального капиталистического искусственного интеллекта, представимого как обширная, гибкая, бесконечно дробящаяся система, отменившая нужду в человеческом волеизъявлении. В своем манифесте нелинейного, децентрализованного Капитала под названием «Переплавка» («Meltdown») Лэнд упоминает о «массово распределенной матрично-сетевой тенденции к выключению зависимых от ПЗУ командных процессоров, поддерживающих все макро- и микроуправленческие структуры, объединенные на глобальном уровне в качестве Системы человеческой безопасности». Это капитализм как все сокрушающее Реальное, в котором (вирусные, цифровые) сигналы циркулируют в самоподдерживающихся сетях, обходящих препону Символического и потому не требующих наличия большого Другого как гаранта. Это Капитал как «Неименуемая вещь», о которой говорят Делёз и Гваттари, но в этом случае она лишена сил ретерриториализации и антипроизводства, которые, по их мысли, конститутивны для капитализма. Одна из проблем позиции Лэнда совпадает с тем, что в ней наиболее интересно: она постулирует «чистый» капитализм, который затормаживается и блокируется только *внешними*, а не внутренними элементами (по логике Лэнда, такие элементы являются атавизмами, которые, по всей видимости, будут поглощены и усвоены Капиталом). Однако капитализм нельзя подобным образом «очистить»: устраните силы антипроизводства, и капитализм исчезнет вместе с ними. Точно так же нет и поступательного движения к «обнажению» капитализма, нет постепенного разоблачения Капитала в качестве того, чем он «реально» является, то есть в качестве чего-то хищнического, безразличного, нечеловеческого. Напротив, существенная роль «бестелесных трансформаций», осуществляемых в капитализме

пиаром, брендингом и рекламой, предполагает, что капитализм, чтобы действительно отыгрывать свою хищническую природу, должен полагаться на различные формы маскировки. Реально существующий капитализм отмечен тем же разделением, которое характеризовало реально существующий социализм, то есть разрывом между официальной культурой, с одной стороны, в которой капиталистические предприятия представлены в качестве социально ответственных и заботливых, и всеобщим пониманием, с другой стороны, того, что на самом деле компании коррумпированы, безжалостны и т. д. Другими словами, капиталистический постмодерн не настолько недоверчив, как может показаться, и этот факт, как известно, обнаружил ювелир Джеральд Ратнер, когда он отразился на его кошельке. Ратнер как раз попытался обойти Символическое и «сказать все как есть», охарактеризовав в ходе послеобеденной беседы недорогую бижутерию, которой торговали его магазины, как «дерьмо». Однако последствия того, что Ратнер высказал это суждение открыто, не заставили себя ждать, причем оказались весьма серьезными: капитализация его компании снизилась на 500 миллионов фунтов стерлингов, а сам он потерял работу. Возможно, клиенты и раньше знали, что ювелирные изделия Ратнера низкого качества, однако большой Другой этого не знал. И как только он это узнал, компанию постиг крах.

Обычный постмодернизм решал «кризисы символической эффективности» в гораздо менее интенсивной манере, чем Ник Лэнд, то есть через метауровневую тревожность относительно функции автора, а также в телепрограммах или фильмах, в которых выставлялся напоказ механизм их собственного производства, так что они рефлексивно включают в себя обсуждение собственного товарного статуса. Однако приписываемые постмодернизму жесты демистификации обнаруживают не столько некую утонченность, сколько определенную наивность, убеждение в том, что раньше, в прошлом, были другие, которые *на самом деле* верили в Символическое. В действительности же, «символическая эффективность», разумеется, достигается именно за счет поддержки четкого различия между материально-эмпирической причинностью и иным, бестелесным порядком причин, свойственным Символическому. Жижек приводит пример судьи:

Мне прекрасно известно, что вещи именно таковы, как я их вижу, что этот человек — коррумпированный слабак, но, тем не менее, я отношусь к нему с уважением, поскольку он облачен эмблемами судьи, поэтому, когда он говорит, на самом деле сам Закон говорит через него. [Так что характерное для постмодернизма]... циническое сведение всего к реальности <...> попадает впросак: когда судья говорит, в определенном смысле истины больше в его словах (словах Института закона), чем в непосредственной реальности личности судьи, то есть если мы ограничиваемся только тем, что видим, мы упускаем самое важное. Именно этот парадокс Лакан имел в виду, предложив формулу «*les non-dupes errent*»: те, кто не позволяет себе попасться на удочку символического обмана/фигиции, кто продолжает верить только своим глазам, заблуждаются в наибольшей степени. Циник, «верящий только своим глазам», не способен заметить действие символической фигиции и то, как она структурирует наш опыт реальности.

Значительная часть работ Бодрийяра является комментарием к тому же эффекту — тому, как разрушение Символического ведет не к прямой встрече с Реальным, а к некоему кровотечению Реального. По Бодрийяру, такие феномены, как документалистика в стиле «мухи на стене» и опросы политических мнений, — которые претендуют на представление реальности в непосредственном виде, — всегда будут порождать неразрешимую дилемму. Влияло ли присутствие камер на тех, кого снимали? Повлияет ли публикация результатов опросов на будущее поведение избирателей? Подобные вопросы оказались неразрешимыми, и потому реальность всегда будет уклоняться: в тот самый момент, когда казалось, что она схватывается в самом что ни на есть сыром виде, она превращалась в то, что Бодрийяр называл «гиперреальностью», правда, этот неологизм часто понимали неправильно. Наиболее успешные из телевизионных «риэлити-шоу», зловеще повторяя выкладки Бодрийяра, пришли в итоге к *слиянию* документалистики в жанре «мухи на стене» и интерактивного голосования. В подобных шоу существует два уровня «реальности» — непосредственное поведение участников «реальной

жизни» на экране и непредсказуемые реакции зрителей, сидящих дома, которые в свою очередь влияют на поведение участников шоу. В то же время риэлити-телевидение постоянно преследуют вопросы вымысла и иллюзии: не действуют ли участники так, что подавляют другие стороны своей личности, чтобы показаться нам, то есть зрителям, более привлекательными? Точно ли регистрируются голоса зрителей или же как-то подправляются? Лозунг телевизионного шоу «Big Brother» — «Решаете вы» — точно схватывает тот способ управления за счет обратной связи, который, согласно Бодрийяру, заместил старые централизованные формы власти. Мы сами занимаем пустое место власти, когда звоним по телефону и отправляем по SMS наши ответы. Телевизионный «Big Brother» пришел на смену «Большому брату» Оруэлла. Мы, зрители, не подчинены власти, приходящей откуда-то извне. Скорее мы включены в контур контроля, для которого наши желания и предпочтения являются единственным мандатом, однако эти желания и предпочтения возвращаются нам уже не в качестве наших, а как желания большого Другого. Ясно, что такие контуры не ограничены телевидением: сегодня кибернетические системы обратной связи (фокус-группы, демографические исследования) являются составной частью всех «служб», включая образование и правительство.

Это возвращает нас к вопросу постфордистской бюрократии. Естественно, существует близкая связь между бюрократией, то есть дискурсом официальности, и большим Другим. В качестве подтверждения этого тезиса Жижек приводит два примера большого Другого за работой: мелкий чиновник, который, поскольку его еще не известили о повышении, говорит: «Извините, я еще не получил соответствующих указаний об этой новой мере, поэтому ничем не могу помочь Вам», и женщина, которая считает, что ее преследует неудача, потому что у нее несчастливый номер дома, но она не может самостоятельно закрасить его и нарисовать новый: «Это надо сделать, как следует, этим должны заниматься соответствующие государственные органы». Все мы знакомы с бюрократическим либидо, с тем наслаждением, которое некоторые чиновники извлекают из позиции снятой с них ответственности («боюсь, я тут ничего не могу поделать, таковы правила»). Фрустрация от общения с бюрократами часто возникает оттого, что сами они не могут принимать никаких решений. Скорее, им позволено лишь ссылаться на решения, которые всегда уже приняты (большим Другим). Кафка был величайшим писателем бюрократии, поскольку он понял, что бюрократии внутренне присуща эта структура снятия с себя ответственности. Поиск окончательной инстанции власти, которая сумеет наконец определить официальный статус господина К., не может завершиться, поскольку с большим Другим нельзя встретиться лично: есть лишь чиновники, более или менее враждебные, которые участвуют в актах интерпретации намерений большого Другого. Эти акты интерпретации, передачи ответственности и есть то, чем является большой Другой.

Кафку можно ценить как комментатора тоталитаризма именно потому, что он открыл такое измерение тоталитаризма, которое невозможно понять, если ссылаться на образцы деспотического правления. Предлагаемая Кафкой картина бюрократического лабиринта как чистилища сходится с утверждением Жижека о том, что советская система была «империей знаков», в которой даже номенклатура — включая Сталина и Молотова — была занята интерпретацией сложных цепочек социальных семиотических знаков. Никто не *знал*, что требуется. Напротив, индивидуумы могли только догадываться, что именно означает какой-то жест или директива. При позднем капитализме, когда даже в принципе нет никакой возможности апеллировать к последней инстанции, которая могла бы дать окончательную официальную версию, как раз и происходит сильнейшая интенсификация двусмысленности. В качестве примера этого синдрома возьмем снова систему дополнительного образования. На встрече представителей профсоюза, директоров колледжей и членов парламента особым нападкам подвергся Совет по обучению и профессиональным навыкам (Learning and Skills Council, LSC), квазинеуправительственная организация, находящаяся в центре лабиринта, занятого финансированием этой образовательной системы. Ни учителя, ни директора, ни члены парламента не могли определить, как появились

отдельные директивы, поскольку они не соотносятся с самой правительственной программой. Ответ заключается в том, что LSC «проинтерпретировал» инструкции, разработанные Департаментом по образованию и профессиональным навыкам (Department for Education and Skills). Затем эти интерпретации приобрели странную автономию, весьма характерную для бюрократии. С одной стороны, бюрократические процедуры свободно парят над землей, не завися ни от какой внешней власти, а с другой стороны, сама эта автономия означает, что они становятся неумолимыми, неприступными для каких-либо попыток внести в них поправки или поставить их под вопрос.

Распространение культуры аудита при постфордизме означает, что слухи об отставке большого Другого оказались преувеличенными. Аудит же лучше всего представить в качестве слияния пиара и бюрократии, поскольку бюрократические данные обычно должны выполнить функцию того или иного продвижения: например, в случае образовательных структур результаты экзаменов или исследовательские рейтинги повышают (или понижают) престиж данного образовательного учреждения. Преподавателя фрустрирует то, что его работа, как ему кажется, все больше нацеливается на то, чтобы произвести впечатление на большого Другого, который сопоставляет и потребляет эти «данные». «Данные» взяты здесь в кавычки, поскольку большая часть так называемой информации не имеет большого значения или применения за пределами параметров, заданных аудитом. Ева Бергланд замечает:

...Информация, создаваемая аудитом, имеет последствия, даже если она настолько лишена каких бы то ни было местных деталей, настолько абстрактна, что просто ошибочна или бессмысленна — но, конечно, лишь в рамках эстетических критериев самого аудита.

Новая бюрократия не имеет форму особой, ограниченной функции, выполняемой определенными сотрудниками, а проникает во все области труда, так что в результате, как и предсказывал Кафка, сотрудники становятся своими собственными аудиторами, которые вынуждены оценивать собственную производительность. Взять, к слову, пример «новой системы», которую OFSTED (Office for Standards in Education, Бюро образовательных стандартов) использует для инспектирования колледжей дополнительного образования. При старой системе в колледже проводилась «тяжелая» инспекция примерно каждые четыре года, в ходе такой инспекции проводились наблюдения на многих уроках, в колледже присутствовало много инспекторов. При новой, «улучшенной» системе, если колледж может показать, что его внутренняя система оценок эффективна, он должен будет пройти только «легкую» инспекцию — надзор и мониторинг переданы OFSTED на аутсорсинг колледжу и в конечном счете самим лекторам, так что они становятся постоянной составляющей структуры колледжа (а также психологии преподавателей). Различие между старой/тяжелой и новой/ легкой инспекционными системами в точности соответствует кафкианскому различию между мнимым оправданием и волокитой, о котором мы говорили выше. При мнимом оправдании вы подаете петиции судьям нижестоящего суда, пока они не выдадут вам неокончательное помилование. Тогда вас освобождают от преследования, пока не придет время, когда ваше дело откроют снова. А неопределенно долгая волокита позволяет вашему делу оставаться на самом низком уровне суда, ценой чему, однако, является никогда не стихающая тревога. (Изменения в инспекциях OFSTED отражены переходом от Research Assessment Exercise к Research Excellence Framework в системе высшего образования: периодическая оценка будет заменена постоянным и повсеместным измерением, которое неизбежно породит ту же самую тревогу.)

В любом случае, «легкая» инспекция для персонала ни в коем случае не может считаться предпочтительной. Инспекторы проводят в колледже то же самое время, что и при старой системе. Тот факт, что их стало меньше, отнюдь не снимает стресса, порожденного инспекцией, который имеет гораздо большее отношение к дополнительным усилиям, связанным с бюрократической показухой и предпринимаемым до предполагаемого наблюдения, чем к самому наблюдению. То

есть инспекция в точности соответствует описанию виртуальной природы надзора, данному Фуко в работе «Надзирать и наказывать». Фуко заметил, что нет нужды в том, чтобы место надзирателя действительно было занято. Следствием того, что вы не знаете, будут за вами наблюдать или нет, является интроекция аппарата надзора. Вы постоянно ведете себя так, словно бы за вами прямо сейчас начнут наблюдать. И в то же время, если взять ситуацию школьных или университетских инспекций, оцениваться в первую очередь будут не ваши преподавательские способности, а ваши навыки в области бюрократических отчетов. Есть и другие странные эффекты. Поскольку OFSTED теперь наблюдает за системами самооценки в колледжах, у колледжей есть скрытый мотив давать себе и своим преподавателям более низкую оценку, чем они заслуживают. Итогом является некая постмодернистская версия маоистского исповеднического общества, в котором от рабочих требовали участвовать в актах символического самоуничтожения. Однажды, когда наш линейный менеджер превозносил достоинства новой, то есть легкой, инспекционной системы, он сказал нам, что проблема с журналами на нашем факультете в том, что они не были достаточно самокритичными. Но не волнуйтесь, поспешил он заметить, любая проявляемая нами самокритика является абсолютно формальной и никакие меры в связи с ней приниматься никогда не будут. Слово самобичевание как часть чисто формального упражнения по циничной бюрократической дрессуре становится от этого чем-то менее удручающим.

В постфордистском классе рефлексивное бессилие студентов отражается рефлексивным бессилием преподавателей. Де Анджелис и Харви пишут:

...Практики и требования стандартизации и надзора, очевидно, становятся для преподавателей тяжелой ношей, и мало кто из них может быть доволен этим. Возникло определенное число реакций. Менеджеры часто высказывались в том духе, что нет альтернативы, заявляя даже, что нам надо «работать умнее, а не упорнее». Этот соблазнительный лозунг, введенный для того, чтобы смягчить сопротивление персонала дальнейшим изменениям, которые, как они сами замечают, оказывают негативное воздействие на условия труда, стремится объединить необходимость «изменений» (реструктуризации и инноваций), нужных чтобы выполнить бюджетные требования и повысить «конкурентоспособность», с сопротивлением персонала не только ухудшению условий труда, но и «бессмысленности» — образовательной и академической — подобных изменений.

Упоминание о том, что «альтернативы нет», а также рекомендация «работать умнее, а не упорнее» показывают, как капиталистический реализм задает тон в обсуждении вопроса труда в постфордистском обществе.

Как отметил, сардонически улыбаясь, один лектор, отменить режим инспекции сейчас сложнее, чем когда-то рабство. Подобный фатализм можно поставить под вопрос только в том случае, когда возникнет новый (коллективный) политический субъект.

## 7. «...Если вы можете заметить, как одна реальность накладывается на другую»: Капиталистический реализм как работа сновидения и расстройство памяти

Когда-то «реалистичность», возможно, означала то, что надо считаться с реальностью, данной в опыте как нечто прочное и неизменное. Однако капиталистический реализм требует подчинения реальности, которая бесконечно пластична и способна на моментальную перестройку самой себя. Здесь мы сталкиваемся с тем, что Джеймисон в своем эссе «Антиномии постмодерна» называет «абсолютно *заменяемым* настоящим, в котором пространство и психика могут в одинаковой степени подвергаться обработке и произвольной переделке». «Реальность» здесь чем-то сродни множеству опций, доступных в цифровом документе, в котором ни одно решение не является окончательным, всегда остается возможность ревизии: в любой момент можно вернуться к предыдущему состоянию. Менеджер среднего звена, о котором я упоминал выше, превратил приспособление к этой «заменяемой» реальности в настоящее искусство. Однажды он что-то с полной уверенностью утверждал о колледже и его будущем, о том, какие последствия, скорее всего, будут у инспекции, и о том, что думает вышестоящее начальство. Затем, *буквально на следующий день*, он с восторгом начал рассказывать нечто диаметрально противоположное его прежним словам. При этом даже не возникло проблемы *отказа* от своего прошлого повествования. Все выглядело так, словно он лишь смутно припоминал, что когда-то вообще говорил о чем-то другом. Это, я думаю, и есть «правильный менеджмент». И еще это, видимо, единственный способ сохранить здоровье в атмосфере вечной нестабильности капитализма. На ее фоне этот менеджер представляется образцом прямо-таки лучезарного душевного здоровья: вся его фигура просто источает приветливость, юмор и добродушие. Подобную жизнерадостность можно поддерживать только при почти полном отсутствии какой-либо критической рефлексии и при способности, которой он был наделен, цинически выполнять каждое распоряжение бюрократических властей. *Цинизм* такого выполнения, естественно, самое главное. Сохранение у него либеральной идентичности, доставшейся от 1960-х, зависело от того, что «на самом деле он не верит» в процедуры аудита, которые с таким рвением выполняет. Такое дистанцирование зависит от различия между внутренней субъективной позицией и внешним поведением, которое я уже обсуждал: в плане своей внутренней субъективной позиции менеджер враждебен к бюрократическим процедурам, которые он контролирует и даже презирует, тогда как в плане внешнего поведения он абсолютно подчинен им. Но именно субъективное дезинвестирование рабочими этих аудиторских задач позволяет им выполнять бессмысленный и деморализующий труд.

Способность менеджера мягко смещаться из одной реальности в другую напомнила мне о «Резце небесном» Урсулы Ле Гуин. Это роман о Джордже Орре, человеке, сны которого точно исполнялись в реальности.

Однако, в соответствии с традиционным жанром волшебной сказки, акты исполнения желаний в самом скором времени становятся травматическими и катастрофическими. Когда, например, его врач, доктор Хабер, подталкивает Орра к тому, чтобы тот увидел во сне, как решается проблема перенаселения, Орр просыпается в мире, в котором миллиарды были уничтожены эпидемией, которая, как пишет Джеймисон в своем комментарии к роману, была «до сего момента несуществующим событием, быстро обретающим себе место в нашей хронологической памяти недавнего прошлого». Сила романа в значительной степени определяется тем, как в нем переданы эти ретроспективные конфабуляции, чья механика одновременно столь знакома, поскольку мы реализуем ее каждый раз в своих собственных сновидениях, и столь чужда. Как вообще мы могли бы поверить в последовательные или хотя бы сосуществующие повествования, которые настолько явно противоречат друг другу? Однако из Канта, Ницше и психоанализа нам известно, что *бодрствование*, так же как и сновидение, зависит от точно таких же экранирующих повествований. Если

реальность невыносима, *любая* конструируемая нами реальность должна быть сплетением несовместимостей. От убогого клише «жизнь — это только сон» Канта, Ницше и Фрейда отличает понимание того, что конфабуляции, которыми мы живем, имеют консенсусную природу. Идея, будто мир, данный нам в опыте, — это солипсистская иллюзия, проецируемая изнутри нашего сознания, скорее успокаивает, а не тревожит нас, поскольку она согласуется с нашими инфантильными фантазиями всемогущества. А вот представление о том, что наша так называемая внутренняя сущность обязана своим существованием некоему фиктивному консенсусу, всегда будет вызывать некий ужас. Дополнительный уровень жути фиксируется в «Резце небесном», когда Ле Гуин показывает, как свидетелями искажающих реальность сновидений Орра становятся другие: врач Хабер, который пытается манипулировать способностями Орра и контролировать их, и адвокат Хитер Лелаш. На что же будет похожа жизнь, когда проживаешь ее в *чем-то чужом сне*, который становится реальностью?

Хабер не мог продолжать... Он почувствовал это — сдвиг, прибытие, изменение.

Женщина тоже что-то почувствовала. Она выглядела испуганной. Прижав тяжелый медный браслет, словно талисман, к своей шее, она тарасилась на пейзаж за окном — в растерянности, в шоке, в онемении.

...Так что с ней теперь будет? Поймет ли она, сойдет ли с ума, что вообще будет делать? Сохранит ли, подобно ему, оба воспоминания, одно истинное, а другое новое, то есть старое и то, что стало правдой?

Так «свихнулась» она или нет? Конечно, нет: после нескольких мгновений оцепенения и паники Хитер Лелаш принимает «новый» мир за «настоящий», вымарывая момент наложения шва. Эта стратегия — безоговорочного принятия несоизмеримого и бессмысленного — всегда была образцовой техникой здравомыслия как такового, но особую роль она начинает играть в позднем капитализме, в этой «пестрой картине, изображающей все, что когда-либо существовало», внутри которой онейрическое сотворение и износ социальных фикций идут почти с той же скоростью, что производство и утилизация обычных товаров.

В этих условиях онтологической неустойчивости забывание становится стратегией адаптации. Взять хотя бы пример Гордона Брауна, который, целенаправленно перестраивая свою политическую идентичность, должен был попытаться спровоцировать нечто вроде коллективного забвения. В своей статье в *International Socialism* Джон Ньюсингер вспоминает:

Браун на Конфедерации британской промышленности заявил, что «бизнес у него в крови». Мать была директором компании, потому «он вырос в такой атмосфере, где всегда знал все, что касается бизнеса». Он был — и всегда оставался — одним из них. Проблема лишь в том, что это не так. Как впоследствии призналась его мать, она никогда не называла себя «бизнес-вумен»: давным-давно она и правда выполняла «мелкие административные обязанности» в «маленькой семейной фирме», но оставила работу, когда вышла замуж, то есть за три года до рождения Брауна. Хотя раньше уже встречались политики из лейбористской партии, которые пытались выдумать для себя «рабочие корни», Браун, видимо, первый, кто придумал для себя «капиталистические корни».

Ньюсингер сопоставляет Брауна с его предшественником и соперником за пост британского премьер-министра, Тони Блэром, представляющим совершенно особый случай. Если у Блэра — разыгрывающего странный спектакль постмодернистского мессианизма — никогда не было никаких убеждений, от которых ему можно было бы отказаться, превращение Брауна из пресвитерианского социалиста в вождя новых лейбористов было долгим, тягостным и трудоемким процессом отречения и отказа: «И если Блэр мог принять неолиберализм безо всякой внутренней борьбы, поскольку у него просто не было никаких убеждений, от которых пришлось бы отказываться, — пишет Ньюсингер, — Брауну пришлось принимать осознанное решение, чтобы перейти на

другую сторону. Видимо, необходимое для этого усилие стало личной травмой». Блэр по натуре и по своим склонностям был Последним человеком, а Браун усилием воли стал Последним человеком, карликом на закате истории.

Блэр был человеком без внутреннего стержня, аутсайдером, который был нужен партии, чтобы вернуться во власть, ее джокером с истерической физиономией любезного продавца. А невероятный акт брауновского самопереизобретения — это то, через что партии самой пришлось пройти, поэтому его натянутая улыбка стала объективным коррелятом реального положения новых лейбористов сегодня, когда они полностью сдали все позиции капиталистическому реализму: внутренности их тел, обмякших и выжатых, как лимон, были заменены симулякрами, которые некогда смотрелись роскошно, но теперь действуют не быстрее компьютеров десятилетней давности.

В условиях, когда реальности и идентичности обновляются подобно программному обеспечению, неудивительно, что расстройства памяти стали главным объектом культурной тревоги — это понятно, если посмотреть, к примеру, фильмы «Идентификация Борна», «Мemento», «Вечное сияние чистого разума». В фильмах о Борне поиск Джейсоном Борном своей идентичности совмещается с постоянным бегством от любого определенного представления о своем Я. «Попробуй меня понять», — говорит Борн в романе Роберта Ладлэма, по которому снят фильм:

Мне нужно кое-что знать... чтобы принять решение... но, возможно, не все. У меня должна быть возможность уйти, исчезнуть. Возможность сказать самому себе, что уже нет того, что было, причем не исключено, что и не было никогда, поскольку я этого уже не помню. То, что человек не может вспомнить, не существует... для него.

В фильме транснациональный номадизм Борна передается сверхбыстрым обрывочным монтажом, который работает в качестве своеобразной антипамяти, увлекая зрителя в головокружительное «непрерывное настоящее», которое, по мысли Джеймисона, характерно для постмодернистской темпоральности. Сложный сюжет романов Ладлэма преобразуется в серии исчезающих событий-шифров и сцен, которые с трудом связываются в согласованное повествование. У Борна, лишенного личной истории, нет *нарративной* памяти, однако у него сохраняется то, что мы могли бы назвать *формальной* памятью, то есть память об определенных техниках, практиках, действиях, которые буквально воплощаются в сериях физических рефлексов и тиков. Поврежденная память Борна — параллель к ностальгии в постмодернистском стиле, описанной Фредриком Джеймисоном, когда современные или даже футуристические отсылки к содержанию скрывают опору на устоявшиеся или устаревшие образцы формы. С одной стороны, именно культура отдает привилегию лишь настоящему и непосредственному: стирание длительной перспективы действует как на прошлое, так и на будущее (например, истории в СМИ монополизируют внимание на неделю, а потом мгновенно забываются). С другой стороны, именно культура оказывается погруженной в чрезмерную ностальгию, она предаётся воспоминаниям, не будучи способной породить что-нибудь действительно новое. Возможно, предложенное Джеймисоном определение и исследование этой темпоральной антиномии — его наиболее ценный вклад в понимание постмодернистской и постфордистской культуры. В «Антиномиях постмодерна» он пишет:

Парадокс, от которого мы должны отталкиваться, — это равнозначность невиданной скорости изменений на всех уровнях социальной жизни и невиданной стандартизации всего и вся: чувств и товаров, языка и архитектуры, — которая может показаться несовместимой с подобной изменчивостью... Но тут мы начинаем понимать, что ни одно общество не было стандартизовано в той же мере, что наше, и что поток человеческой, социальной и исторической темпоральности никогда не струился столь гомогенно... Сейчас мы начинаем ощущать — и этот все больше проявляется на глубинном и фундаментальном уровне конституции самой постсовременности, по крайней мере в ее темпоральном измерении, — что отныне, когда все подчинено постоянной смене мод и медийных образов, ничто уже не способно изменяться.

Несомненно, это еще один пример борьбы сил детерриториализации и ретерриториализации, которая, по мысли Делёза и Гваттари, конститутивна для капитализма. Не было бы ничего удивительного, если бы глубинная социальная и экономическая нестабильность привели к страстному желанию вернуться к семейным формам культуры, к которым мы возвращаемся точно так же, как Борн обращается к своим базовым рефлексам. Расстройство памяти, соответствующее этой ситуации, — болезнь, поражающая Леонарда в «Мemento», где выписывается клинически чистая антероградная амнезия. В этом случае воспоминания, предшествующие началу болезни, остаются неповрежденными, однако больные неспособны переводить новые воспоминания в постоянную память, поэтому новое прорисовывается как нечто враждебное, ускользающее, непроходимое, и больной возвращается к безопасному убежищу старого. «Неспособность сохранить новые воспоминания» — это исчерпывающая формулировка постмодернистского тупика...

Если расстройства памяти являют собой убедительную аналогию сбоям капиталистического реализма, моделью для его гладкого функционирования может выступить работа сновидения. Когда мы видим сон, мы забываем и при этом тут же забываем, что мы забыли. Поскольку разрывы и лакуны в наших воспоминаниях стираются, как в Photoshop, они не тревожат и не мучают нас. Работа сновидений производит именно связность конфабуляций, которая покрывает все аномалии и противоречия, и ее-то Венди Браун и имела в виду, утверждая, что лучшим образцом для понимания современных форм власти является работа сновидения. В своем эссе «Американский кошмар: неоконсерватизм, неолиберализм и дедемократизация» Браун разобрала союз неоконсерватизма и неолиберализма, которым поддерживалась американская версия капиталистического реализма до 2008 года. Браун показывает, что неолиберализм и неоконсерватизм действовали исходя из посылок, которые не только несовместимы друг с другом, но и прямо противоположны. Она спрашивает:

Как же рациональность, которая явно аморальна на уровне и целей и средств (неолиберализм), пересекается с той, которая очевидно моральна и регулятивна (неоконсерватизм)? Как проект, обесмысливающий мир, удешевляющий жизнь и лишаящий ее корней, открыто эксплуатирующий желание, пересекается с тем, что центрирован на закреплении и развитии смыслов, на сохранении определенных способов жизни, на репрессии и регуляции желания? Как поддержка правления, выстроенного по образцу прочной нормативной социальной ткани, обусловленной личными интересами, увязывается или состыковывается с поддержкой правления, выстроенного по образцу церковной власти и нормативной социальной ткани самоотверженности и долгосрочного семейного почитания, то есть той самой ткани, которая была порвана в клочья неукротимым капитализмом.

Однако рассогласование на уровне того, что Браун называет «политической рациональностью», вовсе не мешает симбиозу на уровне политической субъективности, и, как показывает Браун, хотя неолиберализм и неоконсерватизм исходили из совершенно различных базовых предпосылок, они вместе работали над разрушением публичной сферы и демократии, производя управляемого гражданина, который ищет решения в продуктах, а не в политических процессах. Браун заявляет:

...Выбирающий субъект и субъект управляемый — не противоположности... Интеллектуалы из Франкфуртской школы, а задолго до них Платон предложили теорию полной совместимости индивидуального выбора и политического подчинения, изобразив демократических субъектов, которые не противятся политической тирании или авторитаризму именно потому, что они поглощены сферой выбора и самоудовлетворения, которые они принимают за свободу.

Если немного развить аргументацию Браун, мы можем предположить, что странный синтез неоконсерватизма и неолиберализма удерживался именно их общими объектами ненависти — так называемым «государством-нянькой» и его производными. Несмотря на выплески собственной антигосударственной риторики, неолиберализм на деле выступает вовсе не против государства *как такового* — что и доказала массивная поддержка банков в 2008 году, — а,

скорее, против особого использования государственных фондов. В то же время сильное государство неоконсервативного толка ограничивалось военной и полицейскими функциями, отмежевываясь от государства всеобщего благосостояния, которое, как считалось, подрывает нравственную ответственность каждого отдельного индивида.

## 8. «Нет никакой центральной станции»

Хотя государство-няньку поносили и неолибералы и неоконсерваторы, оно, как наваждение, продолжает преследовать капиталистический реализм. Призрак большого правительства играет для капиталистического реализма главную *либидинальную* функцию. Оно существует для того, чтобы обвинить его именно в *неспособности* действовать в качестве централизованной власти, гнев, направленный на него, изрядно напоминает ту ярость, с которой Томас Харди набросился на Бога, вина его в том, что он не существует. В своей статье в *London Review of Books*, посвященной приватизации водоснабжения в Британии, Джеймс Мик заметил:

Снова и снова правительства консерваторов и лейбористов обнаруживали, что, когда они отдают власть частным компаниям, а эти компании потом проваливаются, избиратели обвиняют правительства в том, что они отдали власть, а не компании, которые неправильно использовали ее.

Мик посетил Тьюксбери, один из британских городов, ставший жертвой наводнения 2007 года, через год после бедствия. Судя по первому впечатлению, в наводнении и последующем крахе служб виновны были приватизированные компании водоснабжения и строители, однако Мик обнаружил, что большинство местных жителей смотрит на ситуацию совершенно иначе. Он пишет:

В Тьюксбери, в целом, больше ненависти к правительству, совету и Агентству по окружающей среде, поскольку они не остановили строителей, чем к самим этим строителям, построившим дома, или к покупателям, которые купили их. Когда страховые компании повышают размер взносов, вина возлагается на правительство, которое не потратило достаточно денег, чтобы компенсировать ущерб от наводнения, а не на страховщиков, которые увеличили размер взносов, или на людей, которые желают жить в долине, где возможны наводнения, но не хотят платить за это лишние деньги.

Этот синдром повторился в гораздо большем масштабе во время бедствия совсем иного толка — в период банковского кризиса 2008 года. Средства массовой информации больше писали о преступлениях отдельных банкиров и о том, как правительство справляется с кризисом, а не о его системных причинах. Я, разумеется, не хочу снять с новых лейбористов вину за причастность к этим бедам, однако следует признать, что фокусировка на правительстве, как и на аморальных индивидах, — это акт отторжения. Обвинения бессильного правительства (которое только и делает, что разгребает завалы, устроенные его друзьями из бизнеса) возникают из самообмана, из все той же ненависти к государству-няньке, которая при этом совмещается с нежеланием принимать последствия встраивания правительства в глобальный капитализм. Вероятно, это знак того, что на уровне политического бессознательного невозможно принять то, что не существует главных контролеров, что из всего, оставшегося у нас сегодня, больше всего некую правящую власть напоминают туманные, непрозрачные интересы, действующие в условиях корпоративной безответственности. Возможно, мы имеем дело с фетишистским отрицанием: «нам отлично известно, что правительство уже не дергает за ниточки, но тем не менее...». Такое отвержение возникает, в частности, потому, что децентрированность глобального капитализма оказывается, по своему существу, немислимой. Хотя в людях сегодня видят прежде всего потребителей и, как показали Венди Браун и другие, само правительство представляется в качестве товара или услуги, они по-прежнему не могут не думать о себе так, словно бы они были гражданами.

Ближе всего к непосредственному опыту децентрированности капитализма мы подходим тогда, когда имеем дело с колл-центром. Как потребители в эпоху позднего капитализма, мы все больше делим наше существование между двух реальностей — той, где услуги предоставляются без задержки, и совершенно иной реальностью, представляющей собой безумный кафкианский лабиринт колл-центров, мир без памяти, в котором причина и следствие соединяются

таинственными невообразимыми путями, где чудом кажется уже то, что вообще что-то происходит, где вы теряете всякую надежду на возвращение на другую сторону, где все, кажется, работает гладко и без проблем. Что лучше колл-центра могло бы показать неспособность неолиберального мира соответствовать своему собственному пиару? И при этом распространенность дурных впечатлений от общения с колл-центрами ни в малейшей мере не способна поколебать рабочую предпосылку: капитализм по своей внутренней природе вполне эффективен, как будто бы проблемы с колл-центрами не были систематическим следствием логики Капитала, из-за которой организации настолько сосредоточены на прибылях, что они уже не способны вам ничего продать.

Впечатления от колл-центров представляют собой выжимку из политической феноменологии позднего капитализма: скука и фрустрация, пунктирно расцветенные пиаром, повторение одних и тех же нудных подробностей плохо обученными и ничего не знающими сотрудниками, зарождающийся гнев, который вынужден остаться бессильным, поскольку не может найти законной цели, ведь, как быстро выясняется, нет того, кто знает, и нет того, кто мог бы что-то сделать, даже если он и может. Злость служит лишь для того, чтобы спустить пар. Это агрессия в пустоте, направленная на того, кто такая же жертва системы, хотя чувство общности тут и не возникает. А раз у злости нет объекта, на который ее можно было бы излить, нет у нее и последствий. В этом ощущении системы, которая безответна, безлична, децентрирована, абстрактна и фрагментарна, вы максимально приближаетесь к искусственной глупости самого Капитала.

Угнетенность, вызываемая колл-центрами, — еще одна иллюстрация к тому, что неверно понимать Кафку как писателя, описавшего исключительно тоталитаризм. Децентрализованная, рыночно-сталинистская бюрократия в гораздо большей степени кажется кафкианской, чем та бюрократия, в которой есть центральная власть. Взять, к примеру, тот мрачный фарс, который обнаруживается в отношениях господина К. с телефонной системой Замка, — трудно не заметить, что он предстает каким-то жутким предзнаменованием ощущений, порождаемых колл-центрами.

Никакой постоянной телефонной связи с Замком тут нет, никакой центральной станции, которая переключала бы наши вызовы туда, не существует; если мы отсюда вызываем кого-нибудь из Замка, там звонят все аппараты во всех самых низших отделах, вернее, звонили бы, если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звонки не были бы выключены. Правда, иногда какой-нибудь чиновник, переутомленный работой, испытывает потребность немного отвлечься — особенно ночью или поздно вечером — и включает телефон, тогда, конечно, мы оттуда получаем ответ, но, разумеется, только в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит смелости звонить среди ночи по каким-то своим личным мелким делишкам туда, где идет такая бешеная работа? Я не понимаю, как даже чужой человек может поверить, что если он позвонит Сордини, то ему и в самом деле ответит сам Сордини?

Ответ К. предвосхищает озлобленную фрустрацию индивида, попавшего в лабиринт колл-центров. Хотя многие разговоры с сотрудниками колл-центров кажутся столь же бессмысленными, как некоторые тексты дадаизма, их нельзя трактовать таким образом и нельзя отбросить, посчитав, что они не имеют никакого значения.

«Да, так я на это, конечно, не смотрел, — сказал К., — такие подробности я знать не мог, но и особого доверия к телефонным разговорам у меня тоже не было, я всегда сознавал, что значение имеет только то, о чем узнаешь или чего добьешься непосредственно в самом Замке».

«Нет, — сказал староста, уцепившись за слова К., — телефонные разговоры тоже имеют значение, как же иначе? Почему это справка, которую дает чиновник из Замка, не имеет значения?»

Гениальность Кафки проявилась именно в том, что он сумел исследовать

негативную атеологию, свойственную Капиталу: центр отсутствует, однако мы не можем прекратить искать его или постулировать его существование. Дело не в том, что там ничего нет, а в том, что то, что там *есть*, не способно на ответственность.

Ту же проблему рассматривает под другим углом зрения Кэмпбелл Джонс (Campbell Jones) в своей статье «Субъект, предположительно утилизирующий». Задавая вопрос, «кто является субъектом, который должен утилизировать отходы», Джонс денатурирует императив, который сегодня кажется настолько само собой разумеющимся, что сопротивление ему представляется бессмысленным и даже неэтичным. Каждый должен заниматься утилизацией. *Никто*, каковы бы ни были его политические убеждения, не смеет противиться этому приказанию. Требование того, чтобы мы занимались утилизацией, задается именно в качестве доидеологического или постидеологического императива. Другими словами, оно задано именно в том пространстве, в котором только и может работать идеология. Однако, как утверждает Джонс, субъект, который предположительно должен заниматься утилизацией, уже предполагает структуру, которая не должна ею заниматься: возлагая ответственность за утилизацию на «каждого», структура снимает ответственность с себя, передавая ее потребителям, причем сама эта структура становится невидимой. Сегодня, когда призыв к этической ответственности индивида настоятелен как никогда (в своей книге «Рамки войны» Джудит Батлер использует для этого феномена термин «респонсибилизация»), необходимо, напротив, обратиться к самой системе во всей ее целостности. Вместо того чтобы говорить, что *каждый*, то есть каждый *поодиночке*, ответствен за изменение климата, мы все должны сделать ответный ход: лучше было бы сказать, что никто не ответствен, и в этом-то и состоит проблема. Причина экологической катастрофы — безличная структура, которая, хотя она и способна производить всевозможные эффекты, не является субъектом, отвечающим за что бы то ни было. Необходимый субъект, то есть коллективный субъект, не существует, хотя кризис, как и все остальные глобальные кризисы, с которыми мы имеем дело, требует, чтобы он был сконструирован. Тогда как призыв к непосредственным этическим обязанностям, — который в британской политической культуре то и дело раздавался, по крайней мере с 1985 года, когда убедительная сентиментальность Live Aid заменила антагонизм шахтерских забастовок, — постоянно отсрочивает возникновение подобного субъекта.

Примерно те же проблемы рассматривает Армин Беверунген (Armin Beverungen) в своей статье, посвященной фильму Алана Пакулы «Заговор "Параллакс"» (1974). Автор считает, что «Заговор "Параллакс"» дает некую диаграмму того, как строится определенная модель (деловой) этики. Проблема в том, что модель индивидуальной ответственности, принимаемая в большинстве разновидностей этических учений, не имеет особого отношения к поведению Капитала или корпораций. «Заговор "Параллакс"» «Параллакс» — это в определенном смысле фильм о метазаговоре, то есть фильм не только о заговорах, но и о бессилии попыток, нацеленных на их раскрытие, а также — и это наиболее впечатляющий момент — о том, как определенные формы расследования сами питают те заговоры, которые они намереваются раскрыть. Дело не только в том, что персонажа Уоррена Битти подставляют и убивают за преступление, которое он расследует, ловко устраняя его и подрывая все его расследования одним нажатием корпоративного рычага, управляющего убийцами. Дело еще и в том, что, как отметил Джеймисон в своем комментарии к фильму в работе «Геополитическая эстетика», само упорство, доходящий почти до социопатии индивидуализм героя делает его крайне удобной целью манипуляций.

Самый страшный и одновременно кульминационный момент в «Заговоре "Параллакс"» — когда силуэт безмянного убийцы Битти прорисовывается на мертвенно-белой стене — для меня рифмуется с открытой дверью в другом фильме, в «Шоу Трумэна» Питера Вейра. Но если дверь в финале фильма Вейра, открывающаяся на горизонте в некое темное пространство, обозначает разрыв в универсуме тотального детерминизма, то есть ничто, от которого зависит экзистенциалистская свобода, в «Заговоре "Параллакс"» «финальная сцена с открытой дверью... открывается на мир, организованный заговорами и

контролируемый от начала и до конца» (Джеймисон). Эта безымянная фигура в дверном проеме — самое точное из доступных нам изображений заговора как такового. Заговор в «Параллаксе» никогда не объясняет сам себя. Он никогда не сходится на том или ином злонамеренном индивиде, который мог бы выступить в качестве его центра. Интересы и мотивы, скрывающиеся за заговором в «Параллаксе», хотя они и приписываются некоей корпорации, так никогда и не раскрываются (возможно, они не ясны и не раскрыты даже тем, кто вовлечен в этот заговор). Кто знает, чего на самом деле хочет корпорация «Параллакс»? Она сама находится в параллаксе между политикой и экономикой. Является ли она коммерческим занавесом для политических интересов или же, напротив, вся машинерия правительства не более чем ширма для нее? Неясно и то, действительно ли эта корпорация существует. Более того, неясно, в чем ее цель: притворяться, будто она не существует, или, напротив, притворяться, что она есть.

Конечно, в капитализме есть и заговоры, однако проблема в том, что они возможны только в силу наличия структур более глубокого уровня, которые позволяют им функционировать. Например, может ли кто-нибудь верить в то, что ситуация улучшится, если мы заменим весь управленческий и банковский класс абсолютно новыми («лучшими») людьми? Наоборот, вполне очевидно, что пороки порождаются самой структурой и что, пока она сохраняется, пороки будут воспроизводиться. Сила фильма Пакулы в том, что в нем выявляется теневая, децентрированная безличность, свойственная корпоративным заговорам. Как замечает Джеймисон, Пакула удачно схватывает в «Параллаксе» именно особый тип корпоративной аффективной тональности:

Для участников заговора *Sorge* [забота] — это вопрос улыбчивой доверительности, и их озабоченность носит не личный, а корпоративный характер, это забота о жизненных силах сети или института, бестелесная отвлеченность или невнимательность, распространяющаяся на отсутствующее пространство самой коллективной организации, но без неуклюжих догадок, подрывающих силы жертв. Эти люди *знают*, и потому они способны инвестировать свое присутствие в качестве персонажей в интенсивное и то же время ненавязчивое внимание, чей центр притяжения оказывается повсюду, — в предельную сосредоточенность, оказывающуюся в то же время безразличием. И все же эта забота иного типа, равномерно деперсонализированная забота, приносит с собой характерную лишь для нее тревожность, словно бы она существовала бессознательно, на уровне корпорации, без каких бы то ни было последствий для индивидуальных негодяев.

«Без каких бы то ни было последствий для индивидуальных негодяев» — как сильно эта фраза звучит именно сейчас, после смертей Жана Шарля де Менезеса и Яна Томлинсона и после банковского фиаско. Джеймисон описывает здесь не что иное, как мертвящий кокон корпоративной структуры, которая убивает именно тогда, когда защищает, которая опустошает, отстраняет менеджеров, гарантируя то, что их внимание всегда направлено в сторону, дабы они не *могли* выслушать. Иллюзия тех, кто приходит в менеджмент с большими надеждами, заключается именно в том, что они верят, будто они как индивиды могут всё изменить, что они не повторят того, что сделали их менеджеры, что на этот раз все будет по-другому. Но понаблюдайте за каким-нибудь человеком, который продвигается вверх по управленческой лестнице, и обычно не нужно долго ждать, чтобы заметить, как на него начнет распространяться окаменение, вызываемое властью. Именно в этот момент структура поддается пальпации: вы можете своими глазами увидеть, как она захватывает людей, услышать, как через них говорят ее омертвевшие/ мертвящие суждения.

Поэтому будет ошибкой стремиться переложить на индивидов этическую ответственность, от которой уклоняются корпоративные структуры. Именно это искушение этическим, как доказывает Жижек, используется капиталистической системой для защиты после кредитного кризиса: вина будет переложена на «патологических» индивидов, на тех, кто «злоупотребил системой», а не на саму систему. Причем в действительности такое уклонение состоит из двух этапов — поскольку структура *будет* (явно или неявно) упоминаться именно в тот момент,

когда обнаружится возможность наказать индивидов, принадлежащих к ней. И как раз в этот момент внезапно выясняется, что причины злоупотреблений или жестокостей настолько системны, настолько диффузны, что ни одного индивида нельзя считать за них ответственным. Так произошло с трагедией на Хиллсборо, с фарсом с Жаном Шарлем де Мenezесом и во многих других случаях. Но сам этот тупиковый вывод (только индивидов можно считать ответственными за действия, однако причина их злоупотреблений и ошибок является корпоративной и системной) не только простая видимость, он еще и указывает на то, что отсутствует в капитализме. Какие агентства способны на регуляцию и контроль безличных структур? Какие есть возможности для наказания корпоративной структуры? Конечно, в юридическом смысле с корпорациями можно обращаться как с индивидуумами, однако проблема в том, что корпорации, пусть они и предстают в виде юридических лиц, — совсем не то, что отдельные люди, поэтому любая аналогия между наказанием корпораций и наказанием индивидов неминуемо оказывается весьма слабой. И дело не в том, что корпорации — это такие агенты, которые действуют на самом глубинном уровне и всем управляют. Они сами ограничены конечной причиной, которая-не-есть-субъект, то есть Капиталом, являясь всего лишь его выражением.

## 9. Марксистская суперняня

Ничто не может быть лучшей иллюстрацией описанного Жижекком провала функции Отца, то есть кризиса отцовского Сверх-Я при позднем капитализме, чем типичный выпуск «Суперняни» («Supernanny»). В программе предлагается нечто близкое неустанной, хотя, конечно, неявной, атаке на свойственный эпохе постмодерна гедонизм, потворствующий всему и вся. Суперняня — спинозистка, поскольку, как и Спиноза, она считает самоочевидным, что дети находятся в падшем состоянии. Они неспособны распознать свои собственные интересы, понять причины своих действий и их (обычно вредоносные) последствия. Однако проблемы, с которыми сталкивается суперняня, возникают не из действий или характера детей, от которых можно ожидать лишь того, что они окажутся идиотическими гедонистами. Проблемы связаны с родителями. Именно тот факт, что *родители* двигаются по траектории принципа удовольствия, то есть пути наименьшего сопротивления, оказывается причиной большинства семейных несчастий. В рамках быстрого заученной схемы действий родители, стремящиеся к легкой жизни, приходят к тому, что начинают выполнять требования своих детей, все больше приобретающих тиранический характер.

Как и многим другим преподавателям или сотрудникам той сферы, что ранее называлась «государственной службой», суперняне приходится разгребать проблемы социализации, которые семья уже не способна решить. Конечно, *марксистская* суперняня от улаживания конфликтов в отдельных семьях обратилась бы к поиску структурных причин, которые производят один и тот же повторяющийся эффект.

Проблема в том, что поздний капитализм настаивает на уравнивании желания с интересами и опирается на уравнивание желания с интересами, на отвержении которых некогда основывалась роль родителя. В культуре, в которой «отцовское» понятие обязанности уступило «материнскому» императиву наслаждения, может показаться, что родитель *не выполняет* свою обязанность, если он так или иначе препятствует своим детям в осуществлении их абсолютного права на наслаждение. Отчасти это следствие все более настойчивого требования того, чтобы оба родителя работали. В складывающихся условиях, когда родитель видит ребенка не так часто, возникает стремление отказаться от выполнения «репрессивной» функции, предполагающей, что ребенку надо говорить, что он должен делать. Отречение родителей от этой роли дублируется на уровне культурного производства отказом «ответственных лиц» делать что-либо помимо предоставления аудитории того, что она уже (якобы) хочет. Конкретный вопрос сводится к следующему: если возвращение к отцовскому Сверх-Я — со строгим отцом дома и ритовской надменностью на радио и телевидении — и невозможно, и нежелательно, как нам тогда выбраться из этой культуры смертельно-скупного единообразия, которое возникает из отказа критиковать и обучать? На столь значительный вопрос, естественно, нельзя дать исчерпывающий ответ в такой небольшой книжке, как эта, однако далее я попытаюсь изложить несколько предположений для его решения и соответствующих соображений. Говоря вкратце, я считаю, что именно Спиноза дает нам наиболее подходящие инструменты для продумывания того, как бы мог выглядеть «патернализм без отца».

В «Пребывании в негативном» («Tarrying with the Negative») Жижек выдвинул знаменитый тезис, гласящий, что спинозизм — это идеология позднего капитализма. Жижек считает, что отказ Спинозы от деонтологии ради этики, основанной на понятии здоровья, якобы вполне совместим с аморальным аффективным инжинирингом капитализма. Известным примером тут служит интерпретация, данная Спинозой мифу о грехопадении и основаниям Закона. Согласно логике Спинозы, Бог не осуждает Адама за съеденное яблоко, поскольку это действие само по себе неправильно. Он говорит ему, что ему не следовало есть яблоко, поскольку оно отравит его. По Жижеку, здесь мы видим драматическую развязку, завершающую работу функции Отца. Акт неверен не потому, что Папочка так сказал. Папочка говорит, что он «неправилен», лишь потому, что выполнение этого акта нанесет нам вред. С точки зрения Жижека, ход Спинозы

уничтожает основание Закона, состоящее в садистическом акте раскола (насильственной ране кастрации), и в то же время он отрицает бесосновное полагание действующего субъекта в акте чистого воления, в котором субъект берет на себя ответственность за все. На самом деле, в текстах Спинозы можно найти богатый ресурс для анализа аффективного режима позднего капитализма, видеодромно-контрольного аппарата, описанного Берроузом, Филипом К. Диком и Дэвидом Кроненбергом, то есть аппарата, в котором позиция субъекта расплывлена по фантазмагорической дымке физических и психических дурманящих препаратов. Как и Берроуз, Спиноза показывает, что привыкание, не являясь каким-то отклонением, — это обычное состояние людей, которые обычно поработаются реактивными, повторяющимися воздействиями застывших образов (самих людей или мира вокруг них). Свобода, говорит Спиноза, — это нечто, чего можно *достичь* только тогда, когда мы сможем познать действительные причины наших действий, когда мы сможем отстранить «мрачные страсти», отравляющие и зачаровывающие нас.

Нет никакого сомнения в том, что поздний капитализм оформляет многие из своих предписаний именно через обращение к (определенной разновидности) здоровья. Запрет на курение в публичных местах, неустанная дьяволизация диеты рабочего класса в передачах вроде «Вы то, что вы едите» («You Are What You Eat») явно указывают на то, что мы уже имеем дело с патернализмом без Отца. Дело не в том, что курение — нечто «неправильное», а в том, что оно не даст нам прожить долгую и полную удовольствий жизнь. Однако есть пределы этой акцентуации здоровья: например, душевное здоровье и интеллектуальное развитие едва ли вообще упоминаются. Вместо этого мы наблюдаем редукционистскую, гедонистическую модель здоровья, которое полностью определяется тем, чтобы «хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть». Приемлемо рассказывать людям, как сбросить вес или как украсить квартиру. Однако призывать их к тому или иному культурному совершенствованию — значит осуществлять репрессию и быть элитистом. Предполагаемый элитизм и репрессии не могут заключаться в представлении о том, будто некая третья сторона может знать интересы того или иного человека лучше, чем он сам, поскольку считается, что курильщики либо не знают о собственных интересах, либо неспособны действовать в соответствии с ними. Нет, проблема в том, что только определенные типы интересов считаются релевантными, поскольку они отражают ценности, поддерживаемые консенсусом. Сбросить вес, отремонтировать квартиру и улучшить внешность — вот составляющие «консентиментального» режима.

В замечательном интервью с сайта режиссер-документалист Адам Кёртис определяет контуры этого режима аффективного управления:

Сегодня телевидение говорит вам, что именно чувствовать. Но больше оно не говорит, что думать. Перескакивая от «EastEnders» к риэлити-шоу, вы путешествуете по эмоциям людей, а благодаря монтажу вам мягко внушают, какая форма чувств приемлема. Я называю это «объятия и поцелуи».

Я вычитал это выражение у Марка Равенхилла, который написал отличный текст, в котором говорится, что если вы анализируете телевидение, то сегодня это система наставничества, ведь оно говорит, у кого Плохие Чувства, а у кого Хорошие Чувства. Человек с Плохими Чувствами исправляется «объятиями и поцелуями», которые приходят в конце. То есть на самом деле это система не нравственного, а эмоционального наставничества.

Нравственность была заменена чувством. В «империи самости» каждый «чувствует то же самое», никоим образом не выходя за границы собственного солипсизма. Кёртис заявляет:

...Люди страдают от того, что они пойманы внутри самих себя — в мире индивидуализма каждый пойман своими собственными чувствами, своими собственными вымыслами. Наша работа как сотрудников государственного телевидения — вывести людей за границы их самости, и если мы не сделаем этого, упадок будет только продолжаться. BBC следует это понять. У меня

идеалистический взгляд, однако если бы ВВС смогла сделать это — вытянуть людей из их оболочки, она обновилась бы так, что могла бы не бояться конкуренции. Конкуренция с маниакальным упорством заставляет обслуживать людей в их маленьких эго. И в определенном смысле, Мердок, несмотря на всю его власть, тоже пойман этой самостью. Это его работа — раскармливать самость.

Для ВВС это следующий шаг вперед. Это не значит, что мы вернемся к 1950-м и будем говорить людям, как одеваться. Нам надо сказать им: «вы можете освободиться от самих себя» — и людям это понравится.

Кёртис нападает на Интернет, поскольку, с его точки зрения, он упрощает коммуникацию солипсистов, выстраивает интерпассивную сеть единомышленников, которые подтверждают, а не критикуют предпосылки и предубеждения друг друга. Вместо того чтобы сталкивать разные точки зрения в дискуссионном публичном пространстве, эти сообщества замыкаются в своем внутреннем кругу. Но, как заявляет Кёртис, давление интернет-лобби на старые медиа разрушительно, поскольку его реактивная проактивность не только позволяет медиаклассу отречься от своей образовательной и этической функции, но и дает популистам правого и левого толка право угрозами заставить продюсеров выпускать посредственные, но успокоительные передачи.

Критика Кёртиса в определенном смысле верна, однако она упускает важные качества происходящего в сети. Вопреки его описанию блогов, последние могут породить новые дискурсивные сети, у которых нет аналогов в социальном поле за пределами киберпространства. Поскольку старые медиа все больше уступают требованиям пиара, а потребительский отчет заменяет собой критическое эссе, некоторые зоны ки-берпространства дают возможность сопротивляться «критическому сжатию», которое с угрюмой неизбежностью распространяется на все остальные места. Тем не менее интерпассивная симуляция участия в постмодернистских медиа, сетевой нарциссизм MySpace и Facebook по большей части порождали вторичный, паразитарный и конформистский контент. Можно заметить некую иронию в том, что отказ медиакласса от патерналистской позиции создал не низовую культуру умопомрачительного разнообразия, а культуру прогрессирующей инфантилизации. Напротив, именно патерналистские культуры относятся к своей аудитории как к взрослым людям, предполагая, что они могут справиться со сложными культурными продуктами, предъявляющими высокие требования к интеллекту. Причина, по которой фокус-группы и иные капиталистические системы обратной связи неизменно проваливаются, даже когда они порождают весьма популярные товары, состоит в том, что люди не знают, чего они хотят. И не только потому, что желание у людей уже есть, но скрыто от них (хотя часто именно так и бывает). Скорее, наиболее сильные формы желания представляют собой именно стремление к чему-то странному, неожиданному, загадочному. А такие вещи могут создавать только художники и профессионалы медиа, которые умеют давать людям нечто отличное от того, что их уже и так удовлетворяет, — то есть те, кто готов пойти на определенный риск.

Марксистская суперняня не просто ввела бы некоторые ограничения, действуя, таким образом, в наших интересах в том случае, когда мы неспособны распознать их сами, но и была бы готова пойти на этот риск, поставить на странные вещи и наше влечение к ним. Еще один ироничный момент капиталистического «общества риска» заключается в том, что оно готово пойти на подобный риск в гораздо меньшей степени, чем якобы закоснелая и централизованная культура послевоенного социального консенсуса. Публично-ориентированные ВВС и Channel 4 поражали и радовали меня сериалом «Жестянщик, портной, солдат, шпион», пьесами Пинтера и фильмами Тарковского. И та же ВВС спонсировала популярный авангард на BBC Radiophonic Workshop, что позволило встроить музыкальные эксперименты непосредственно в повседневную жизнь. Сегодня такие инновации немислимы, когда публику заменили потребители. Следствием постоянной структурной нестабильности, «аннулирования дальней перспективы» становится неизменная стагнация и консерватизм, а не новшества. И это не парадокс. Как ясно из приведенных выше замечаний Адама Кёртиса, господствующие в позднем

капитализме аффекты — это страх и цинизм. Эти эмоции не могут подтолкнуть к смелым мыслям или предприимчивым броскам, они возвращают конформизм и культ минимальных различий, выпуск продуктов, которые почти ничем не отличаются от тех, что уже добились успеха. При этом такие фильмы, как вышеупомянутые «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, из которых в Голливуде воровали идеи, когда снимали «Чужого» и «Бегущего по лезвию бритвы», были сделаны в откровенно гнетущих условиях брежневского советского государства, а это значит, что СССР действовал в качестве культурного антрепренера Голливуда. Поскольку сегодня ясно, что для культурного развития требуется определенный уровень стабильности, следует задать вопрос: как возможно обеспечить такую стабильность и какими силами?

Левым давно пора прекратить ограничивать свои амбиции созданием большого государства. Но «отстраниться от государства» — не значит вообще оставить государство или удалиться в частное пространство аффектов и многообразия, которое, как справедливо доказывает Жижек, является совершенным дополнением к господству в государстве принципов неолиберализма. Такое отстранение означает признание того, что целью действительно новых левых должен быть не захват государства, а подчинение государства общей воле. Это, естественно, требует восстановления самого понятия общей воли, оживления и модернизации самой идеи публичного пространства, которое несводимо к совокупности индивидов и их интересов. «Методологический индивидуализм» капиталистического мировоззрения использует в качестве предпосылки как философию Макса Штирнера, так и учения Адама Смита и Хайека, поскольку такие понятия, как «публика», истолковываются ими как «призрачные», абстрактные фантомы, лишённые всякого содержания. Реальны только индивидуумы (и их семьи). Симптомы провала этого мировоззрения наблюдаются повсюду — в расколотой социальной сфере, где обычным явлением стала стрельба подростков друг в друга и создание опасных супермикробов в больницах. И требуется просто связать следствия со структурной причиной. Вопреки постмодернистскому подозрению по отношению к большим повествованиям, нам требуется снова заявить, что все эти следствия, отнюдь не являются какими-то изолированными случайными проблемами, происходят от одной-единственной системной причины, то есть Капитала. Нам следует начать, словно бы в первый раз, разрабатывать стратегии против Капитала, представляющего себя в качестве чего-то повсеместного и универсального как в онтологическом, так и в географическом отношении.

Несмотря на первые впечатления (и надежды), капиталистический реализм не был подорван кредитным кризисом 2008 года. Спекуляции по поводу того, что капитализм вот-вот рухнет, в самом скором времени были признаны безосновательными. Стало ясно, что дотации банкам не говорят о конце капитализма, а являются массовым подтверждением того тезиса капиталистического реализма, что альтернативы все равно нет. Было решено, что *немыслимо* позволить банковской системе рухнуть, а за этим решением последовало масштабное перекачивание государственных средств в частный сектор. Тем не менее в 2008 году кое-что произошло, а именно рухнули те рамки, которые задавали идеологическое прикрытие для процесса капиталистического накопления с 1970 годов. После спасения банков через дотации неолиберализм был дискредитирован во всех смыслах этого слова. Это не значит, что он мгновенно испарился. Напротив, его идеи по-прежнему господствуют в политической культуре, однако это господство уже не часть идеологического проекта, обладающего убедительным прогрессивным потенциалом, а просто инертная, принятая по умолчанию установка, которая никак не может отмереть. Сейчас мы можем понять, что, хотя неолиберализм по необходимости был капитал-реалистическим, капиталистический реализм не обязан быть неолиберальным. Чтобы спасти себя, капитализм может вернуться к модели социал-демократии или обратиться к модели из фильма «Дитя человеческое», то есть некоему авторитаризму. В отсутствие убедительной и непротиворечивой альтернативы капитализму капиталистический реализм будет по-прежнему управлять политэкономическим бессознательным.

Однако, даже если сегодня очевидно, что кредитный кризис не приведет сам по себе к концу капитализма, этот кризис уже привел к частичному выходу из умственного паралича. Мы оказались в политическом ландшафте, в котором разбросано то, что Алекс Уильяме назвал «идеологическим мусором». Это снова нулевой год, расчищено пространство для того, чтобы возник новый антикапитализм, который не обязательно должен быть привязан к старым языкам или традициям. Один из пороков левых заключается в беспрестанном повторении исторических споров, в тенденции все время возвращаться к Кронштадту или нэпу, вместо того чтобы планировать и организовывать что-то на будущее, в которое они действительно верят. Неудачи прежних форм антикапиталистической политической организации не должны стать причиной отчаяния, однако же следует расстаться с какой-то романтической привязанностью к политике неудачи, к удобной позиции маргинала, потерпевшего поражение. Кредитный кризис — это возможность, однако ее следует рассматривать в качестве предельно спекулятивного вызова, толчка к обновлению, которое не может быть возвращением. Как весьма убедительно заметил Бадью, настоящий антикапитализм должен быть конкурентом Капитала, а не реакцией на него. Не может быть возврата к докапиталистическим территориальностям. Антикапитализм должен противопоставить глобализму Капитала свою собственную подлинную универсальность.

Ключевым моментом является то, что действительно возрожденные новые силы должны уверенно занять ту политическую площадку, которую я (в самых общих чертах) обрисовал здесь. Ничто по своей природе не является исходно политическим. Политизация требует наличия политического агента, который может преобразовать то, что принимается в качестве само собой разумеющегося, в предмет полемики. Если неолиберализм одержал победу, присвоив желания рабочего класса эпохи после 1968 года, новые левые должны начать с опоры на желания, которые неолиберализм породил, но не смог удовлетворить. Например, левые должны заявить, что они могут сделать то, чего явно не мог неолиберализм, а именно: произвести массовое сокращение бюрократии. Здесь требуется новая борьба за труд, которая определит, кто им управляет. Нужно защитить автономию рабочего (противопоставив ее контролю со стороны менеджмента) и одновременно отбросить некоторые формы работы (такие, как избыточный аудит, ставший столь заметной чертой труда в условиях постфордизма). И в этой борьбе можно победить — но только в том случае, если сложится новый политический субъект. И вопрос открыт — могут ли старые структуры (например, профсоюзы) вскормить эту субъективность или же потребуются формирование совершенно новых политических организаций? Против менеджериализма должны быть выстроены новые формы промышленных действий. Например, если брать случай преподавателей и лекторов, тактику забастовок (или даже отказ принимать экзамены) следует оставить, поскольку она лишь вредит студентам и преподавателям (в колледже, где я раньше работал, однодневные забастовки приветствовались руководством, поскольку они позволяли экономить на зарплатах, практически не сказываясь на работе колледжа). Требуется стратегическое уклонение от всех форм работы, которые нужны лишь для того, чтобы их заметили представители менеджмента, то есть от всей машинерии надзора за самим собой, которая не имеет никакого отношения к собственно образовательным задачам, тогда как менеджмент без нее существовать не способен. Вместо того, чтобы заниматься постановочной, зрелищной политикой, сконцентрированной вокруг (священных) проблем вроде Палестины, профсоюзы преподавателей должны обрести собственное содержание и воспользоваться возможностями, открытыми кризисом, дабы начать освобождать государственные службы от бизнес-онтологии. Если даже фирмы не могут управляться как просто бизнес, с какой стати это должны делать государственные службы?

Мы должны изменить интерпретацию широко распространенных проблем с психическим здоровьем, показав, что это не вопрос медицины, а действительные антагонизмы. Аффективные расстройства — это формы застывшего несогласия, это отвращение и несогласие следует направить вовне, на их реальную причину, то есть на Капитал. Кроме того, распространение некоторых психических

заболеваний в условиях позднего капитализма позволяет выдвинуть аргументы в пользу новой воздержанности, аргументы, которые рождаются все более неотложным вопросом экологической катастрофы. Ничто не противоречит конститутивному для капитализма императиву роста в большей степени, чем концепция ограничения благ и ресурсов. Однако, хотя это и вызывает недовольство, нам все более ясно, что сама по себе рыночная и потребительская регуляция не предотвратят экологической катастрофы. В пользу этой новой аскезы должны быть выдвинуты как либидинальные, так и практические аргументы. Если, как показали Оливер Джеймс, Жижек и «Суперняня», неограниченная свобода действий ведет к нищете и отвращению, ограничения, наложенные на желание, скорее ускорят, а не затормозят его. В любом случае, ограничение того или иного рода неизбежно. Вопрос в том, будет ли оно управляться коллективно, или же оно будет навязано авторитарными средствами, когда будет уже слишком поздно. Хотя открытым вопросом остается и то, какие формы должно принять это коллективное управление, это вопрос, который можно решить только на практике и в экспериментах.

Долгую темную ночь конца истории надо понять как удивительный шанс. Сама гнетущая навязчивость капиталистического реализма означает, что даже проблески альтернативных политических и экономических возможностей могут произвести неожиданно сильное воздействие. Ничтожное событие способно проделать дыру в серой ширме реакции, которой отмечены горизонты возможного при капиталистическом реализме. В ситуации, в которой ничего не может произойти, внезапно снова возможным становится всё, что угодно.

## **Об авторе**

Марк Фишер — критик, теоретик и преподаватель. Его тексты регулярно появляются в журналах *Frieze*, *New Statesman*, *The Wire*, а также *Sight & Sound*. Он был одним из основателей Cybernetic Culture Research Unit. В настоящее время — приглашенный преподаватель в «Центре культурологических исследований» Голдсмит-колледжа Лондонского университета, а также преподает философию в «Городском литературном колледже» Лондона. Вебсайт Марка Фишера: . Он женат, живет в Саффолке.

## **Примечания**

## 1

Гарольд Блум (р. 1930) — американский культуролог и литературный критик. В книгах «Страх влияния» и «Карта перечитывания» он излагает свою концепцию литературной динамики, которой, с его точки зрения, движет острая боязнь повтора и непрерывный процесс переинтерпретации трудов предшественников их потомками. (Здесь и далее примечания переводчика и редактора.)

**2**

Коммодифицировать (от лат.) — превращать в товар.

### 3

Имеется в виду различие между *detournement* и *recuperation*, то есть между намеренным искажением классических образцов с целью их подрыва и встраиванием радикально-критических произведений в мейнстрим.

#### 4

Live Aid — благотворительный концерт 13 июля 1985 года, целью которого был сбор средств в помощь голодающим в Эфиопии. Концерт проходил одновременно на стадионах в Лондоне и Филадельфии, в тот же день прошли аналогичные концерты в Германии и Австралии. Считается, что это событие стало рекордным по количеству зрителей: благодаря телевидению его посмотрели около двух миллиардов человек.

Цитаты из «Процесса» Кафки приводятся в переводе Р. Райт-Ковалевой.

**6**

Banlieues (франц.) — пригороды.

Incapacity Benefit — британское государственное пособие, получаемое лицами допенсионного возраста в случае нетрудоспособности, вызванной тем или иным заболеванием или инвалидностью.

## **8**

Ингибиторы обратного захвата серотонина — наиболее популярные антидепрессанты, в частности знаменитый прозак (флуоксетин).

Цитаты из «Замка» Ф.Кафки приводятся в переводе Р. Райт-Ковалевой.

## 10

Бразилец Жан Шарль де Менезес был по ошибке застрелен лондонской полицией в 2005 году. Торговец газетами Ян Томлинсон скончался от сердечного приступа, после того как, оказавшись среди протестующих по время саммита «двадцатки» в 2009 году, получил удар полицейской дубинкой.

## **11**

В результате давки, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе Хиллсборо в Шеффилде, 96 болельщиков погибли и еще 766 получили ранения.

**12**

«Supernanny» — программа, выходящая на британском телевидении с 2004 года, посвященная проблемам воспитания детей и подростков; ведущая — профессиональная няня Джо Фрост.

## 13

Имеются в виду «ритовские лекции» (Reith lectures) — лекции на радио BBC на политические, научные и иные темы, которые читают ученые, а также политические и общественные деятели. Названы в честь лорда Рита, первого директора BBC.

**14**

«EastEnders» — одна из наиболее популярных и старых британских мыльных опер, впервые показана на BBC One в феврале 1985 года.